

Владимир Гржонко

ВРЕМЯ СУРКА
роман

© *Vladimir Grjonko 2016*

*Посвящается двум Абрамам – моим дедам,
одного из которых я никогда не видел,
а второго видел, но почти не знал.
А также моей внучке Еве.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОСЛЕ

По шаткой железной лестнице я взобрался в самолет и, перехватив автомат поудобнее, спросил: «А где здесь Гагарин?» Происходило это, если мне не изменяет память, в году шестьдесят третьем. Гагарин все еще был главным героем страны, и поэтому никто из пассажиров маленького деревянного ИЛ-14 не удивился. Все, включая пилота, в ту невинную пору не отделенного от салона пуленепробиваемой стенкой, рассмеялись. Пассажиры смеялись громко, но немного нервно, как всегда бывает перед полетом. Я же тогда совсем не боялся летать, потому что не знал еще ни страха высоты, ни страха смерти. Которая, как стало мне известно чуть позже, иногда бывает внезапной. В три года вообще хорошо живется на свете. Особенно когда у тебя есть деревянный автомат с круглым, выкрашенным черной замечательно пахнущей масляной краской диском а-ля ППШ. И ты впервые в жизни летишь на самолете, управлять которым, конечно же, должен сам Гагарин.

Начав работать с пожилыми людьми, я стал лучше относиться к старости. Потому, наверное, что теперь мне самому до нее уже рукой подать. А может быть, наоборот: когда я видел сведенные артритом руки, выцветшие, обращенные внутрь себя глаза и нетвердую походку, то испытывал эгоистичную радость от того, что сам-то я еще хоть куда...

Впрочем, не могу сказать, что мне нравилась сама работа. Я был мозольным оператором в специальном центре по болезням ног на Брайтоне, возглавляемом доктором Коцем. Сюда приходили на педикюр старики со всего района. Кряхтя, они усаживались в кресло, я опускался на низенький стульчик, потом они протягивали мне свою корявую, не всегда чистую ногу с вросшими ногтями и пяточными шпорами... Кто это придумал, что судьбу нужно читать по руке? Ноги рассказывают о человеке куда больше. Глядя на эти обычно спрятанные в ортопедические старческие башмаки конечности – либо костлявые, либо отечные, – я почти сразу понимал, кто возвышается в кресле передо мной: бывший партийный деятель, балерина, работник торговли, проститутка, домашняя хозяйка. Выпирающие косточки и скрюченные пальцы говорили о необходимости стоять на ногах целыми днями, затянувшиеся шрамы на подошвах – о босоногом детстве, а вросшие ногти и следы от срезанных заусениц – о смешных попытках угнаться за

модой. Отсутствие отложения солей указывало на хорошее питание в ту пору, когда обладатели этих ног еще активно строили коммунизм. Или, по крайней мере, просто имели средства и возможности покупать качественные продукты.

Тем не менее, я даже немного гордился своей работой. Получив место в этом центре и долгими часами возясь с чужими ногтями и мозолями, я старательно убеждал себя, что я не несчастная жертва обстоятельств, вынужденная терпеть капризы и мелкую тиранию вздорных старушек, и что мое унижительное положение вовсе не унижительно. В конце концов, именно мозольный оператор сыграл роковую роль в судьбе Пушкина, подставив поэта под пулю Дантеса...

А потом ко мне в кресло села она. Это случилось в жаркий майский день ровно месяц назад. Я не сразу понял, что произошло, даже еще не взглянул на нее. Увидел только сухонькие маленькие ступни и подумал, что работы тут будет совсем немного.

– Меня зовут Рита, – кокетливо сообщила пожилая дама, и, словно угадав мои мысли, добавила: – Особых хлопот, голубчик, я вам не доставлю. Обычно я пользуюсь услугами своей педикюрши, но в этот раз... обстоятельства заставили меня прибегнуть к вашей помощи.

Дама по-девичьи хихикнула, и я поневоле поднял на нее глаза. Коротко стриженные волосы, сухонькие ручки с припухшими суставами, глухое платье под горло... В общем-то, если не считать странной в наши дни манеры разговаривать, она вполне походила на привычных брайтоновских бабулек. Но глаза... глаза были совсем молодыми, живыми и острыми. На секунду мне даже показалось, что под хорошим голливудским гримом спряталась молодая девушка, которая зачем-то вздумала меня разыграть. Но тут же опомнился: ну кто и для чего стал бы затевать столь хлопотный розыгрыш? Да и невозможно, на самом-то деле, так загримировать человека, чтобы это не было сразу заметно. Тем не менее, казалось, что внутри пожилой дамы живет иное существо, приникшее к прорезям ее глаз так, как когда-то отдыхающие на пляже приникали лицом к дыркам в декорациях, чтобы на фотографии предстать горцем в бурке на коне или морским царем... Я сглотнул слюну и пробормотал что-то невразумительное.

– Да-а, – продолжила дама, с видимым удовольствием наслаждаясь моим недоумением, – видите ли, я, собственно, пришла к милейшему доктору Коцу по одному важному делу, связанному с его эликсиром, а он, насколько я понимаю, человек исключительно занятой, принять меня сразу не может... – она пошевелила пальцами на ноге, – и так я оказалась в этом кресле. Надеюсь, вас не затруднит... поработать со мной, пока доктор не освободится. Он совсем недолго будет занят, вот увидите...

Я не нашелся, что ответить. Эта необычная старушка отчего-то мне не понравилась. Ее фраза о недолгой занятости Коца прозвучала двусмысленно... Бурные события последних лет научили меня сторониться всего, что хоть в какой-то мере могло грозить неприятностями. А от этой Риты, несмотря на всю ее вежливость, исходили волны какой-то непонятной мне, но отчетливо ощущаемой опасности. Кроме того, доктор Коц, по моим подозрениям, вовсе

не был настоящим доктором. Он занимался распространением какой-то сомнительной смеси, которая будто бы лечила от всего на свете, стоило лишь намазать ее на больное место... Мне должно было быть все равно: сажать за мошенничество, в случае чего, будут его. Но, как я уже говорил, любая опасность, даже отдаленная и не касающаяся меня лично, вызывала желание спрятаться куда подальше... В общем, Рита показалась мне подозрительной.

– Да не переживайте вы так, – усмехнулась она. – А то начнут у вас руки дрожать, порежете меня не ровен час, кровь пойдет, а я не выношу вида крови и тут же впаду в истерику... Ну и кому это нужно? Вы, Павел, человек, я вижу, нервный. Вам бы не со стариками работать...

Я уставился на Риту с откровенным испугом. Откуда она знает, как меня зовут? Что это, провокация, чтобы замести Коца, а заодно и меня, и всех работников центра? Эта молодежавшая старушка вполне могла сотрудничать с конторой, которую обозначают неприятной аббревиатурой. А уж эта контора, как я слышал, любит проверять работу «русских» медицинских центров вроде нашего... Ножнички, которыми я подрезал ноготь на ее большом пальце, вывалились у меня из рук.

– Ах, право слово! – Рита всплеснула руками и прижала их к груди. – Отчего вы такой пугливый? Я вас просто узнала... ну кто ж не знает Павла Кижевича? Знала я и о том, что после того... прискорбного случая... вы работаете здесь, у доктора Коца. Собственно, мне нужно было с вами поговорить... Ну что вы так на меня смотрите? Секретов не существует, голубчик...

Она снова рассмеялась, высвободила ступню из моих помертвевших пальцев, аккуратно надела туфельку на низком каблуке и весело притопнула ногой. И опять мне показалось, что все это неправда, что она сейчас рассмеется, сбросит парик и накладные морщины и окажется красивой молодой женщиной с упругим горячим телом... Ее глаза, блестящие и очень выразительные, говорили о том, что все ей нипочем; что вот сейчас она просто играет со мной, а может выкинуть такое, от чего приличные дамы валятся в обморок как кегли... Чуть скошенный по-ведьмински левый глаз еще и подмигивал мне то ли с издевкой, то ли, наоборот, дружелюбно. Но от этого становилось не по себе. Как назло, толстая Марина, моя напарница, сегодня не вышла на работу. Мы с Ритой были в кабинете одни.

И тут я понял, кого она мне напоминает. Однажды меня везли в покоем на школьный автобусе по территории тюрьмы на Райкерс-Айленде. Автобус шел по берегу, на противоположной стороне Ист-Ривер полыхал огнями беззаботный вечерний Манхэттен, а меня и еще парочку товарищей по несчастью везли в другой корпус на рентген: так проверяют, не пронесит ли арестованный в тюрьму запрещенные предметы. Сопровождала нас тетка-надзиратель. С непонятной улыбкой она то поглядывала на меня, то шепталась с водителем, то невнятно бормотала что-то в висящий на плече уоки-токи. А глаза ее были какими-то странными, с запрятанным внутри сюрпризом. И внезапно показалось мне тогда, что везут нас не на относительно безопасный рентген, а на расстрел... может, по ошибке, может, по злему умыслу. И как ни отгонял я от себя такую нелепую мысль, она

становилась все назойливей, и я уже видел, как, пустив мне пулю в лоб, эта улыбчивая тетка идет перекусить в местный буфет...

– Я ведь к доктору Коцу ненадолго: на пару слов – и сразу же уйду. Дела, знаете ли... Кстати, не хотите ли сменить место работы?

Рита кокетливо улыбалась, и от этого нравилась мне все меньше и меньше.

– У меня и зарплата повыше, и работа почти по профилю...

Я промямлил что-то вроде того, что я бы не против, работа тут, конечно, не сахар, но вот... доктор обидится. Да и вообще, о какой работе может идти речь, я ведь теперь...

– Ну да, ну да, – понятиливо закивала Рита, – это я знаю... Только вам все равно скоро придется искать новую работу...

Я окаменел. Неужели мои подозрения оправдываются, причем самым неприятным образом? Значит, сейчас Коца арестуют за его махинации и меня, в лучшем случае, вынудят давать показания против него... иначе мне, человеку с уголовным прошлым, из этой истории не выбраться...

Рита поднялась на ноги и, сунув мне визитную карточку, пошла к выходу. В дверях она остановилась, покачала головой и велела обязательно ей позвонить. Желательно, прямо сегодня, еще до конца рабочего дня. Я вертел в руках кусочек картона и озадачено смотрел ей вслед. Дверь закрылась. Тишина. Никто не заглядывает в кабинет с кряхтением и жалобами на долгое ожидание, а за самой дверью не волнуется, не колышется раздраженно нетерпеливая очередь. Странно, ко мне было записано никак не меньше двадцати человек. Куда они все подевались?

Странное ощущение абсурда, сродни тому, которое охватило меня *тогда*, когда неловкий полицейский никак не мог оседлать наручниками мои заляпанные кровью запястья... *Тогда* все самое страшное и нелепое *уже случилось*, осталось только отстраненное ощущение чего-то выполненного – неприятного, неоднозначного в смысле правил человеческих и божьих, но, тем не менее, совершенно необходимого. Потому что – и я понял это совсем недавно – только иногда на какие-то секунды натяжение нити, управляющей человеческой жизнью, ослабевает по недосмотру держащего ее, и тогда человеку дано самому решать свою судьбу. Потом нить опять натягивается, и он вновь становится рабом. Рабом законов, обстоятельств, собственной слабости, наконец...

Я взглянул на карточку, которую держал в руках. По-русски и по-английски там было написано, что Маргарита Мастерс является президентом компании «Золотой кит», а также был указан номер телефона и электронный адрес. Адреса компании на карточке не было. Я еще немного повертел картонку в руках, потом сунул ее в карман рубашки и приоткрыл дверь в холл. Все кресла, в которых обычно ожидают своей очереди наши пациенты, были пусты. Я зачем-то снял белый рабочий халат и вышел из кабинета. С ужасом ребенка, которого оставили одного в пустом доме, я посмотрел туда, где у входной двери за стойкой должна была сидеть наша секретарша, милая, но глупая девушка Наташа. Наташи на месте не оказалось. И хотя за большими окнами-витринами стоял яркий солнечный день, ездили машины и ходили

люди, меня охватило ощущение ночного кошмара. На цыпочках я пробрался к кабинету доктора Коца и прислушался. Услышав голоса, я с облегчением вздохнул: вот сейчас, наплевав на приличия, войду в кабинет и получу какое-никакое, но объяснение всему происходящему.

– Еще раз повторяю, я никому ничего уже не должен, – вибрировал за дверью голос доктора Коца. – Это вы напрасно думаете, что вам все с рук сойдет...

Коц явно пытался показать, что ему не страшно, и даже наоборот, что сам он кого хочешь напугает. Но было понятно, что испуган он почти до истерики, до той степени, когда человек начинает рыдать, бухаться на колени и униженно просить... Его страх оказался настолько заразительным, что мне стало совсем не по себе.

– Ты мне, перец, пустого-то не пой, я ж тебя не первый день знаю, – произнес незнакомый голос – тихий, но очень низкий. Настолько низкий, что опускался куда-то в неслышимые, но, казалось, ощущаемые кожей даже через дверь частоты. – Ты ж понимаешь, если что, так я тебя на колбасу пушу, потрох ты сучий... Потом будешь себя своим же дерьмом лечить. Только напрасно. Хрен вылечишь! Дрянью-то твоя, сам знаешь, никуда не годится, а главное, потому что будешь ты это... как его... неоперабельный!

Обладатель низкого голоса зловеще рассмеялся, и я услышал стук: доктор Коц бухнулся-таки на колени.

– А можно... – запинаясь и всхлипывая, заныл Коц, – можно, я перед всеми извинюсь... перед всеми-всеми вашими... ну как-то все это исправить можно? Ну можно же? Я готов... Только не убивайте...

Тут его собеседник, должно быть, сделал угрожающий жест, потому что Коц оборвал себя на полуслове и заплакал, высоко по-бабьи взвизгивая. Я оторопел. Последняя фраза Коца не оставляла сомнений в том, что в его кабинете находится вовсе не представитель конторы с неприятной аббревиатурой, а кто-то куда более опасный. Дело принимало совсем другой оборот. Я в растерянности попытался сообразить, что же мне делать – вмешаться или бежать отсюда, как, похоже, сбежали все остальные – пациенты и работники центра. С одной стороны, если Коца действительно собрались убивать, я вряд ли могу его спасти, а с другой... оставлять человека, даже такого как Коц, наедине с убийцей как-то нехорошо...

Пока я размышлял, что предпринять, дверь кабинета неожиданно распахнулась, и я с удивлением обнаружил, что кроме Коца, с перекошенным лицом сидящего за своим столом, в кабинете находилась только моя новая знакомая – пожилая дама по имени Рита.

– А-а, – как ни в чем не бывало сказала она, – это вы, Павел! Кроме всего прочего, я и о вас успела переговорить с доктором. Он готов вас отпустить прямо сейчас. Да, доктор?

Она повернулась к Коцу, который мелко закивал головой, но мне показалось, что более всего он сейчас хотел бы, чтобы я не оставлял его наедине с Ритой.

– Погодите, – пролепетал он наконец, подтверждая мои подозрения, – погоди, Паша... Пожалуйста...

– Да-а? – Рита вроде бы не сменила тона, но, хотя она обращалась к Коцу, у меня отчего-то сразу занял левый висок.

– Ну так... – промямлил Коц, – я ведь... Я Паше денег должен, ну, за отработанные дни... Я сейчас... только чековую книжку найду и...

– А вы, доктор, ему потом деньги вышлите. Тем более что сумма-то смешная, копейки...

– Да-да, – с готовностью закивал Коц, – я, конечно, понимаю – мало, но и вы поймите – времена тяжелые, а тут... центр этот... слезы одни, а не доходы...

Тут Рита взмахнула ручкой, и Коц послушно оборвал себя на полуслове, как будто задохнулся.

– Хорошо, – решительно заявила Рита, – сейчас будем разбираться.

Она сделала многозначительную паузу, во время которой Коц попытался набрать в грудь воздуха, но у него ничего не получалось. Коц побледнел, а потом пошел пятнами, заметными даже на его бронзовом загаре.

– Ладно, – смилостивилась Рита, – после разберемся.

И обратилась ко мне:

– Павел, не соблаговолите ли проводить меня немного?

Рита ухватила меня под руку, и я понял, что легкая старческая ручка может быть тяжелой и неумолимо твердой, как чугун. За спиной наконец-то выдохнул Коц. Мне было слышно, как он что-то переложил на столе, и пока мы с Ритой шли по коридору, направляясь к выходу из центра, задышал громко и тяжело, как будто только что пробежал несколько миль. Но его положение занимало меня куда меньше моего собственного. Потому что, когда мы оказались на улице, Рита не ослабила хватки, а уверенно повела меня куда-то в сторону пляжа.

– Вас, конечно, удивляет, что я так легко и быстро закрыла этот ваш центр, – кокетливо глядя на меня снизу вверх, заявила она. – Впрочем, знаю-знаю: после того как вас обвинили во всех смертных грехах, вы навсегда зареклись удивляться.

Это было правдой. Когда надо мной повисло страшное обвинение в том, чего я не делал, я говорил друзьям, что теперь уж ничему и никогда не удивлюсь. Наверное, то же самое я сказал в одном из радио- или телеинтервью, которые тогда, по горячим следам, у меня брали журналисты. Сегодняшняя история не то чтобы удивила меня, нет, скорее, я просто не понял, что же, собственно, произошло; чего так испугался третий калач доктор Коц.

– Ах, Паша, Паша... Надеюсь, вы позволите мне так вас называть? – Рита уверенно тащила меня вперед. – Я вас сейчас, можно сказать, спасла, голубчик вы мой! Да-да, именно так! Вы ведь, с позволения сказать, на Коца... э-э-э... неофициально работали, верно? То есть никакой информации о ваших трудовых подвигах там, в его центре, не осталось?

Это было правдой. Как уголовник с «тяжелой» статьей, я не имел права работать с людьми. Да и вообще найти работу, имея за спиной такое прошлое, было довольно непросто. Поэтому когда я случайно встретил Коца, и он предложил мне эту работу, я, недолго думая, согласился. Хотя понимал, что рано или поздно может случиться неприятность, да и платил он

действительно копейки. Ну а что делать? Другой работы все равно не было. Но я и тут не удивился Ритиной осведомленности: умному человеку несложно было догадаться о моем положении у Коца. Кроме того, и другие сотрудники центра работали, скорее всего, как и я, за наличные, то есть неофициально.

– Так вот, сегодня в ваш центр нагрянет проверка из администрации штата... очень любознательные ребяташки. Все-то их интересует, а уж деятельность доктора Коца в особенности.

Рита хитро прищурилась и еще сильнее сжала мою руку.

– Вот, собственно, и вся история. Узнав о проверке, я тут же отправилась к вам и предупредила всех, кого могла; девочки отпустили пациентов и сами ушли от греха подальше, ну а доктор... доктор, разумеется, остался ждать визитеров, чтобы удовлетворить их любопытство. И тут я вспомнила о вас. И подумала, что уж вам-то и подавно лучше не встречаться с этими ребятами...

Она безмятежно улыбалась, а ее глаза, казалось, намекали на что-то такое, чего я никак не мог понять. Да я и вообще ничего не понимал. Рассказанная мне история никак не вязалась с услышанным за дверью кабинета Коца. Хотя, если вдуматься, то просьбу не убивать можно было истолковать в переносном смысле. Но все равно оставался вопрос: где же находился обладатель низкого голоса, который никак не мог принадлежать этой пожилой даме с молодыми глазами?

В моей жизни бывают моменты, когда я вполне отчетливо ощущаю, что оказываюсь игрушкой каких-то неведомых сил – и чаще всего не могу вырваться, противостоять им, хотя понимаю, куда может завести такое мое безволие. Хотя с возрастом этих моментов становится все меньше. Видимо, силам, искушающим меня, я становлюсь все менее и менее интересным. Но иногда они все еще разыгрывают меня, и тогда я могу оценить их специфическое чувство юмора...

Никогда не забуду свою самую первую ночь в тюрьме. Сначала меня томили ожиданием в предбаннике местной санчасти, потом долго держали в крохотном вонючем помещении на приемке с десятком-другим вполне милых, если не вглядываться и не принимать, сокамерников. Помню молодого поляка, беззубого тощего наркомана. На почве наших общих, как ему казалось, славянских корней он проникся ко мне симпатией и в меру своего разумения пытался рассказать о местных правилах и порядках.

В камеру, где мне предстояло провести выходные, я попал только под утро, одуревший от усталости, и уже почти не соображал, где нахожусь. Держа под мышкой тоненький кожаный матрас, следом за молодой толстой надзирательницей я прошел по коридору и попал в огромное, напоминавшее физкультурный зал помещение – камеру-пересылку. На железных шконках, расставленных головами к низким перегородкам, беспокойно спали скрытые темнотой люди.

У тюрьмы особый запах. И дело даже не в невымытых телах заключенных. Тюрьма пахнет страхом и тоской... В почти полной темноте я выбрал наугад первую попавшуюся свободную шконку, кое-как расстелил матрас и, стараясь не думать о том, кто лежал на нем до меня, провалился в сон.

Но спать мне пришлось недолго. По неопытности я выбрал шконку неподалеку от ярко освещенной туалетной комнаты, поэтому стоило чьей-то фигуре загородить свет, как я мгновенно проснулся, еще не понимая, что мне может грозить. Но никакой угрозы не было. А было наваждение. Сощурысь от бьющего мне в лицо света, я увидел чернокожую женщину в белой полупрозрачной майке. Покачивая широкими бедрами, она удалялась от меня, но когда на секунду обернулась, то на фоне сереньких предутренних окон я разглядел и роскошные тяжелые груди с выпирающими через тонкую ткань сосками, и темные пряди волос, и лицо – удивительно красивое и печальное. Я замер, еще до конца не осознав невозможности появления такой женщины, да еще полуголой, в мужской тюремной камере. А камера спала как ни в чем не бывало. Женщина помедлила, улыбнулась и двинулась дальше, прямо в туалет, позволив мне разглядеть стройные ноги, чуть прикрытые майкой...

Ее явление было настолько нереальным – и в то же время настолько очевидным, – что я приподнялся, чтобы окончательно убедиться, что это не сон. С каким-то мне самому непонятным чувством радости я подумал, что вот он, ответ на бесконечно задаваемый самому себе вопрос: для чего?.. Вот оно, откровение, которое, видимо, невозможно нигде, кроме тюрьмы с ее равнодушной жестокостью, с подлинным, а не выдуманным страданием... Отрезанный от нормальной жизни, в арестантской робе, пропитанной запахами чужого тела и хлорки, выброшенный сюда, как на необитаемый остров, ты перестаешь быть самим собой. Но стоит тебе в полной мере осознать, *кто ты есть*, как приоткрывается дверка *туда*, и тебе позволено увидеть наяву то дивное, что мелькает иногда в предутреннем сне, а потом терзает и терзает память, пока не сотрется из нее окончательно...

Секундой позже я понял, что это было наваждение, подленькая издевка, оставляющая жгуче-кислое, подобное изжоге, послевкусие. Потому что женщина, сразу перестав быть загадкой, подошла к писсуару и... Позже я часто встречал в тюрьме этих несчастных существ, застрявших между двумя полами. Так как при полном отсутствии мужского начала они обладают вполне весомыми первичными мужскими половыми признаками или, попросту говоря, членом, то и держат их в мужских камерах... Не знаю, была ли это игра теней или просто воображение разыгралось, но в тот момент, когда эта полуженщина поднимала край футболки, она обернулась, и странная гримаса исказила ее тонкое лицо. Мне показалось, что она смотрела прямо мне в глаза...

– Ну что, – сказала Рита, – надеюсь, вам все понятно, голубчик? В таком случае приглашаю вас поработать со мной хотя бы какое-то время. Если не понравится, удерживать вас никто не будет. Но я уверена, что работа придется вам по душе. От такого предложения не отказываются, поверьте! Ну что, согласны?

Я неуверенно кивнул и спросил, когда начинать и что именно будет входить в мои обязанности.

– Считайте, что вы уже начали! – бойко заявила Рита. – Пойдемте, я покажу вам наши владения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДО

Вся эта история началась с того, что я написал роман. Мне давно хотелось его написать. Оглядываясь назад, я начинаю думать, что не выбирал его тему и сюжет. Как-то так само собой получилось, что история, которую я хотел рассказать, странным образом переплелась с преданиями моей семьи. Эти предания, противоречивые и не всегда достоверные, собственно, и стали основой романа. А то, что я перенес его действие на несколько тысячелетий назад, объясняется просто: многие описанные в Библии события перекликаются с теми, которые произошли с моим прадедом, дедом, а также их многочисленным потомством. Некоторые из семейных историй я знал с детства – и тогда же, со свойственным многим детям отношением ко времени, когда даже час кажется вечностью, решил, что раз речь идет о моих предках, то все это случилось давным-давно, в незапамятные времена.

Наверное, не существует семьи, у которой не было бы преданий, передающихся из поколения в поколение. Преданий веселых, трагических, как правило, интересных только тем, что главными их персонажами являются дальние или близкие родственники. Но истории нашей семьи были необычны хотя бы потому, что в каждом поколении события раз за разом повторялись почти буквально... Менялись действующие лица, менялись времена и обстоятельства, но, так или иначе, ситуация, в которой оказывались мои предки, оставалась прежней. Как будто они рождались и жили в одном большом старом доме, принадлежавшем еще дедам и прадедам, ходили по его комнатам, спали на его кроватях, приводили в него жен и мужей, умирали в свой час, оставляя дом в наследство следующему поколению... Но каким бы оно, следующее поколение, ни было, дом всегда оставался прежним.

Позже, читая Библию, я никак не мог избавиться от ощущения, что Авраам напоминает мне моего собственного деда; по крайней мере, представлял его точно таким же, каким мне запомнился дед – высоким сухим стариком, педантом, чистюлей и, видимо, изрядным занудой. Кроме того, в нашей родне было много Моисеев, Яковов, Исааков и Иосифов, которых я никогда не знал лично, но которые ассоциировались у меня исключительно с библейскими персонажами.

Поэтому в сорок лет, когда я понял, что мне нужно написать роман, я точно знал, о чем он будет. Перед внутренним взором я оживил те давние детские картинки, добавив к ним свое теперешнее осмысление прошлого. Разумеется, в силу обрывочности преданий, а также того, что по непонятному мне самому легкомыслию я не задал много важных вопросов ни деду с бабушкой, ни родителям, кое-что мне пришлось просто придумать. От этого роман получился не вполне реалистичным, но так проще было передать то, о чем хотелось рассказать, не смущаясь некоторыми парадоксами и несоответствиями.

История любой семьи начинается с того из предков, кого сам рассказчик считает родоначальником. В моем случае это был прадед по материнской линии – отец моей бабушки по имени Вульф. Говорят, он был богатым человеком, хотя в небольшом западно-украинском городке, где они жили, по-видимому, богачом мог считаться любой обладатель ста золотых рублей. Но как бы там ни было, а свою младшую дочь, мою бабушку Лизу, он баловал как мог, вкладывая в нее душу и потакая всем ее капризам. Не знаю, какие отношения складывались у нее с многочисленными сестрами и братьями, но думаю, что они не одобряли отца и недолюбливали свою младшую сестричку, росшую, насколько можно судить, довольно своенравной девчонкой.

К началу двадцатого века, когда начались погромы, прадед Вульф уже успел женить и выдать замуж самых старших детей, но поскольку городок был маленьким, а прадед Вульф, как я уже говорил, богатым, то все они жили рядом с ним. И вот когда из соседнего местечка прибежал еле живой, бледный как стена учитель хедера в оборванном лапсердаке и сообщил, что распаленная водкой и безнаказанностью толпа погромщиков убила у них несколько лавочников и раввина, а теперь двигается в эту сторону... В общем, когда в городке началась паника, прадед Вульф встал посреди своего двора и заявил, что все семейство будет прятаться вместе – там, где, по его мнению, безопаснее всего.

Дело в том, что за городом, на отшибе, с незапамятных времен стояла маленькая католическая часовенка, построенная поляками, судя по всему, еще до восстания Хмельницкого. Прадед Вульф плохо разбирался в тонкостях различий между православием и католицизмом, но здраво рассудил, что эта часовня – последнее место, где погромщики будут искать евреев. Поэтому вся семья, наскоро собрав пожитки, побежала прятаться в подвале часовни. Беда заключалась в том, что прадед Вульф не соотнес размеров подвала с размерами собственной семьи. В результате разыгралась ужасная сцена, когда обезумевшие от страха братья и сестры, невзирая на крики отца, пытались доказать, что именно они должны первыми лезть в подвал, а если остальным места не хватит, что уж тут поделаешь. Мало ли подвалов в городе?..

В то время все еврейские семьи почему-то считали, что погромщикам никогда не придет в голову искать их в подвалах. Отчасти это было справедливо, потому что, добравшись до оставленного в домах и квартирах добра, бандиты часто забывали о его владельцах: видимо, жадность все же была сильнее жажды насилия и крови.

Но вернемся к прадеду Вульфу. Стоя перед часовней, семейство начало ругаться и спорить, так что даже забыло, зачем, собственно, собралось там, на окраине города. Поминались старые и новые обиды, которых всегда хватает между родственниками: скупость одних, мотовство других, а также такое, о чем вслух и говорить-то не хочется, чтобы не позорить семью. Прадед Вульф тоже забыл обо всем и стоял как оплеванный. Он не ожидал от своих детей такой жестокости, мелочности и злопамятности. Но когда на краю городка загорелся чей-то дом, и уже слышны были вопли то ли бандитов, то ли их жертв, прадед Вульф опомнился и страшно закричал на детей. Продолжая

выяснять отношения, семейство начало спускаться в подвал. Оказалось, что места там значительно больше, чем они думали, так что ругаться было, в общем-то, незачем. Только и нужно было, что выбросить подальше в кусты, окружавшие часовню, несколько узлов и один сундук, который притащила толстая Двойра, жена старшего сына.

Все были уже внизу, кроме самого прадеда Вульфа и его младшей дочки, моей бабки Лизы. Ей не хотелось лезть в грязный подвал, чтобы не испачкать платье, подарок отца. Да и вообще она не верила, что какие-то там бандиты действительно могут кого-либо убить, а уж ее-то и подавно. Лизе совсем недавно стукнуло пятнадцать, и она была настолько уверена, что этот мир хорош и справедлив, что никакие погромщики не могли бы заставить ее усомниться в этом. Кроме того, рядом с ней был отец, а отец никогда бы не позволил, чтобы с ней случилось что-то плохое. Он вообще не позволял, чтобы с ней случилось хотя бы что-нибудь. Один раз он застал Лизу наедине с Абрамом, приглянувшимся ей приказчиком из лавки, где Лиза покупала себе кружева, и даже не позволил, чтобы с ней случилось что-то, по ее подозрениям, очень хорошее. А вместо этого вытолкнул красавчика Абрама в шею...

Забегая вперед, должен сказать, что с Лизой довольно скоро случилось-таки это самое хорошее: красивый, но бедный Абрам, тоже уцелевший во всех погромах, несмотря на сопротивление прадеда Вульфа, стал ее мужем и моим дедом. Лиза всегда умела добиваться своего, чего бы это ей ни стоило.

Вот и тогда, стоя у входа в подвал часовни, Лиза наотрез отказывалась лезть в эту грязную дыру и на все уговоры отца только кривила румяное розовое личико и отпихивала протянутые к ней руки. Не ползет она в подвал и все! Какие еще погромщики, какая опасность? Что за глупость, пусть ее сестры прячутся, особенно Фаня и Софа; они такие грязнули, им все равно, что подвал, что курятник...

Прадед Вульф хотел было схватить ее на руки и силой затащить в подвал, но вовремя вспомнил, что она уже барышня, и он, даже будучи отцом, не может *так* ее хватать. В его просвещенном мозгу тут же всплыл образ пророка и праведника Лота и его бесстыдных, по мнению прадеда Вульфа, дочерей... На всякий случай он не делился ни с кем такими своими мыслями, но в глубине души полагал, что историю Лота, переспавшего со своими дочками, лучше бы вообще никому не рассказывать... В общем, он не смог остановить Лизу. Презрительно усмехнувшись, она пошла по дороге обратно в город.

В это время из подвала раздались причитания перепуганной до смерти прабабки. Не думая о том, что Лиза может услышать ее слова, она кричала мужу, что так нельзя, что они торчат на виду у всех и, конечно, эти бандиты тут же нападут на след всей семьи; что у прадеда Вульфа есть дети и кроме Лизы, и эти дети пока еще нуждаются в нем; что если у этой паршивки кой-где чешется, и ей хочется быть изнасилованной и убитой, то пусть тогда ее изнасилуют и убьют, но семья из-за нее погибать не должна. И он, Вульф, просто не имеет права оставлять семью без кормильца...

– Вульф! – пронзительно закричала прабабка. – Вульф, немедленно иди сюда!

В ее крике прадед Вульф услышал знакомые нотки, которые всегда лишали его воли, и на короткое время он переставал быть самим собой – богатым человеком, главой большой семьи. Потому что именно она, его жена, родившая ему девятерых детей – и еще четверых, которые сразу умерли, – именно она всегда знала лучше, что для семьи важнее всего. И когда наступал *такой* момент, его в общем-то не сварливая жена вдруг превращалась в совершенно незнакомое существо, перечить которому он не мог. Но все равно, даже понимая, что жена права, и что Лиза из-за своей глупости, в которой виновата его отцовская любовь, его упрямая Лиза, не желавшая подчиняться обстоятельствам, сейчас погубит все семейство... все равно прадед Вульф медлил. Он просто не мог заставить себя спрятаться в подвале и оставить Лизу одну. И тогда прабабка пустила в ход самое страшное оружие.

– Мерзавец и скотина! – кричала она мужу. – Ты любишь ее не совсем так, как любят своих дочерей приличные люди! Думаешь, я этого не знаю, сволочь ты такая?!

Прадед Вульф дрогнул. Конечно, в словах его жены было больше страха и злости, чем правды, но... Но все же что-то в них было. И опять вспомнился ему праведник Лот... он даже оглянулся посмотреть, не окаменела ли жена. Впрочем, этого можно было и не делать, потому что камни не умеют кричать так громко... А еще прадед Вульф вспомнил праотца Авраама, вспомнил и его сына, чуть было не принесенного в жертву. И снова оглянулся прадед Вульф, как будто в поисках козла, которого можно было бы подсунуть судьбе вместо любимой дочери. Но, как назло, не держали в их городке коз. И вообще никакого скота не держали. Птицу – да, держали. Гусей, уток и еще кур. Прадед Вульф ими, курами, и торговал, выращивая петухов специальным, известным кроме него только французам способом, позволявшим сделать из обычной птицы упитанного каплуна. Прадед Вульф сам поразился тому, о какой чепухе думает в этот страшный момент, когда любимая младшая дочь идет по дороге туда, где к небу уже поднимается черный дым и белый пух, где страшно кричат женщины... Но когда на одной чаше весов – глупая, хоть и любимая дочь, и на другой – вся семья... Вся его большая семья...

И опять дрогнул прадед Вульф. Больше не глядя вслед дочери, он суетливо, делая множество ненужных движений, полез в подвал, на ощупь ухватил ржавую железную створку двери и с силой захлопнул ее за собой, словно отгородился от всего того, что разум его не мог вынести и, тем более, осознать. И только когда все они оказались в темноте и относительной безопасности, вдруг без слов заголосила прабабка, оплакивая только что потерянную дочь. Вскоре к ней одна за другой присоединились старшие дочери и кое-кто из мальчишек-сыночек. Тут самообладание вернулось к прадеду Вульфу, а вместе с ним и власть главы семейства. Он прикрикнул на жену и детей, и все замолчали, понимая, что жертва, только что принесенная их отцом, выше их слез и причитаний. А прадед Вульф, пользуясь темнотой, отер мокрое лицо, прочистил горло и вполголоса запел-забормотал молитву...

Это может показаться невероятным, но мою бабушку Лизу не только не убили и не изнасиловали, но даже не ограбили, хотя на нее у нее висело всеми, и ею самой в том числе, забытое ожерелье из мелкого жемчуга – недорогое, но вполне способное привлечь внимание погромщиков. Теперь трудно сказать, что именно спасло ее. Может быть, жалость пополам с отвращением, которую вызывают даже у самой озверевшей толпы блаженненькие. Или, может быть, абсолютная уверенность бабушки в том, что ее *не могут* тронуть, которая передалась бандитам, в глубине души знающим, что они переступили черту, и что вот так, отступившись и пощадив кого-то одного, возвращают для себя иллюзию закона, если не человеческого, то Божьего. А еще может быть, что к тому моменту, когда Лиза дошла до городка, бандиты просто устали и торопились унести добычу: мало ли, появятся попрятавшиеся было городовые да и отнимут то, что им приглянется...

Кроме того Лиза была одета как барышня и вела себя как барышня, а совсем не как грязная жиловка. Она подошла к своему дому, остановилась во дворе – там, где еще недавно стояла со своим Абрамом, – увидела двух полупьяных старух, тащивших по земле один из ее сундуков, и громко закричала на них. Услышав не терпящий возражений голос моей бабушки, старухи в нерешительности остановились, но добычу не бросили. Тогда Лиза выскочила на улицу со страшными следами творящегося вокруг кошмара, которого она не желала видеть, и остановила первого встречного. На ее счастье это был не окончательно опустившийся полуинтеллигент из спившихся учителей, случайно прибывший к погромщикам. Она пожаловалась ему, что какие-то отвратительные тетеньки грабят ее дом. Полуинтеллигент оказался хоть и опустившимся, но джентльменом, к тому же довольно крепким мужчиной, поэтому старухи, увидев его входящим во двор вместе с Лизой, бросили от греха подальше сундук и, спотыкаясь, потащились через дорогу, во двор к Райхманам, которых бабушка терпеть не могла. Поэтому она только поблагодарила спасителя, вошла в разграбленный дом и стала ждать, когда вернутся остальные его обитатели.

Можно только догадываться, что пережил прадед Вульф, когда посреди ночи со всем благополучно спасшимся семейством вошел в дом и обнаружил там голодную и злую Лизу. Семейство испытывало смешанные чувства. Пришлось признать, что эта дура и капризуля оказалась права: ее никто не тронул, кроме того, она спасла свой сундук, в то время как вещи других сестер были украдены или безнадежно испорчены. Получается, что все они зря торчали в вонючем подвале...

Лиза окончательно задрала нос, а на следующее утро даже не приняла участия в общей уборке дома, заявив, что она и так спасла его от пожара и дальнейшего разграбления. Прадед Вульф только качал головой, стараясь не встречаться глазами с дочерью, которую, как он сам полагал, принес в жертву. Конечно, Бог спас ее, как когда-то Исаака, но кто знает, что чувствовал Авраам, чуть было не убивший сына? Прадед Вульф считал, что это было мучительное чувство вины, потому что и сам до конца жизни не мог избавиться от тяжелых воспоминаний о собственном предательстве. Он укрепился в этой мысли, когда не обнаружил в сарае своих тщательно

выращиваемых каплунов и решил, что они заменили собой жертвенного козла...

Почитаемые прадедом Вульфом Мишна и Гемара трактовали поступок праотца Авраама иначе, и прадед это знал. Что было бы, думал он иногда, невидящим взглядом уставясь в молитвенник, если бы Авраам не подчинился приказу убить сына? Может быть, все сложилось бы по-другому, откажись Авраам от *такого* доказательства верности Всевышнему... Зачем Богу кровь Исаака? А может быть, Он хотел, чтобы Авраам, наоборот, доказал, что он не слепой раб? Да, тогда все могло бы сложиться по-другому...

Чтобы не прослыть сумасшедшим безбожником, прадед Вульф не делился такими мыслями ни с кем. Но в конце концов согласился выдать Лизу замуж за красавчика Абрама и даже дал ей в приданное целых триста рублей. Согласился именно потому, что чувствовал себя виноватым. Виноватым и перед ней, и перед прабабкой, хотя, видит Бог, у него никогда и в мыслях не было ничего такого, о чем кричала тогда, во время погрома, его жена. Вот чтобы больше не разбираться в своих сложных чувствах, он и согласился на эту свадьбу.

Красавчик Абрам был в каком-то смысле еще и счастливчиком. По крайней мере, вся его бедная многочисленная родня была убеждена, что тут не обошлось без колдовства. Ничем другим невозможно было объяснить, что именно ему досталась самая богатая в городке невеста. Правда, поговаривали, будто характер у Лизы такой, что ее собственный отец был счастлив избавиться от нее и с радостью дал бы Абраму не триста, а все пятьсот рублей, если бы тот стал настаивать на увеличении приданого. Абрам, не имея никакого образования, кроме нескольких классов местного хедера, любил читать, но был напрочь лишен коммерческой жилки, да и вообще умения зарабатывать; к тому же испытывал непреодолимое отвращение к деньгам. Родня – как его собственная, так и Лизина – считала деда изрядным лентяем, каким, подозреваю, он и был на самом деле.

Молодые очень быстро потратили эти триста рублей. Как потом говорила Лиза, они прокатили их на тройках. Впрочем, она была счастлива: лишний раз подтвердилось ее убеждение в том, что этот мир создан специально для того, чтобы она могла получить все, чего пожелает. Удивительно, но с каждым годом ее уверенность в этом не уменьшалась, а только росла. Некоторое время спустя Лиза родила сына, и это тоже было лишним подтверждением ее правоты. А в мире между тем творилось несусветное: началась мировая война, потом грянула революция, потом пришли большевики... Винивший себя во всех грехах прадед Вульф на самом деле был виноват только в одном: он забыл объяснить своей любимице, что жизнь тяжела, опасна и непредсказуема. Поэтому Лиза продолжала жить счастливо – так, как привыкла жить в отцовском доме, – невзирая ни на какие обстоятельства...

Так начиналась одна из историй, легших в основу моего романа. Я был уверен: рассказав их правильно, не сбившись с тона и не изменяя внутреннему чувству ритма, я достигну того ощущения, ради которого, собственно, и приступил к написанию романа. Истории лились из меня со

знакомым каждому пишущему человеку ощущением, что действие разворачивается само, без участия автора... Закончил рукопись быстро, за несколько месяцев и, волнуясь, отправил ее в Москву. Роман, согласно утверждению классика, должен был принести мне сюрпризы, и он их принес. Но не совсем какие, которых я ожидал. Роман приняли в довольно крупном издательстве, даже заплатили мне до смешного маленькие деньги – и после множества томительных проволочек книга, наконец, была напечатана.

Это было странное время. Роман был издан, на него были написаны несколько ругательных и несколько хвалебных рецензий... а потом в литературном мире о нем начисто забыли. Как будто и не было его никогда.

Я ничего не мог понять. Моя жена и наша кошка Алиса, которые принимали деятельное участие в судьбе романа, тоже недоумевали. Обе были уверены, что роман если не гениальный, то уж, по крайней мере, талантливый... Мои надежды оказались напрасными, и постепенно во мне росло чувство внутренней пустоты. Ни жена, ни кошка не могли мне помочь, хотя обе очень старались, каждая на свой лад. Алиса щурила свои томные египетские глазки и молчала о том, что тайны, в которые она посвящена, гораздо важнее и интереснее судьбы моего романа. А жена просто любила меня и старалась, чтобы никто из друзей или родственников не ляпнул ненароком какой-нибудь бестактности...

Вот тогда в моей жизни возник Кацман – главный редактор одного из популярных журналов, выходивших в Нью-Йорке на русском языке. Кацман прочел мой роман, и он ему понравился. Понравился настолько, что Кацман предложил мне работу в своем журнале. Я никогда не был журналистом и даже не представлял себе, как и, главное, зачем пишутся статьи, в особенности, политические. Просто потому, что сам никогда таких статей не читал. Мне был непонятен этот неутолимый интерес человека к деятельности известных политиков; он всегда казался мне похожим на тот болезненный интерес, с которым люди бегут поглазеть на несчастного, попавшего под трамвай. Потому что и в том, и в другом случае ничего уже не поделаешь: политик останется политиком, а труп трупом.

Но Кацман сделал мне неожиданное предложение еженедельно писать для журнала небольшой рассказ с одним-единственным условием: его действие должно происходить в Нью-Йорке. Разумеется, я с восторгом согласился.

До сих пор не знаю, следовало ли мне с таким удовольствием – теперь-то я могу в этом признаться! – входить в этот мир, маленький, но столь желанный тогда мир русскоязычных газет и журналов, радио и телевидения. О, сколько там было амбиций, сколько пустого пафоса и откровенного невежества! Сколько разочарований мне пришлось пережить! Но и признание, признание тоже было. Пусть мелкое, пусть смешное для мира толстых журналов и больших тиражей, но было...

Но все это случилось позднее, а тогда я просто радовался своей новой должности штатного сотрудника популярного литературного журнала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛУТИЯ

По ночам я уйду далеко за стан, в пустыню, сижу на своем коврике и гляжу на звезды, которые Единый повесил так низко, что порой мне, дерзкому, хочется дотронуться до них рукой. Но ангелы Джуда, которых мне довелось узнать, рассказывали мне о том, что все это дурман, морок. На самом деле звезды очень далеко, так далеко, что не хватит деревьев в лесах и камня в каменоломнях всего Кенана и Бабеллы, а может быть, даже и Мицрамского царства, чтобы построить башню, способную дотянуться до жилища Единого и звезд, которые его освещают. Я гляжу на звезды и думаю, что если там, наверху, все неверно и обманчиво, то что же говорить о нас, людях – и даже о моем господине, про которого я, столько лет знающий его, не всегда могу сказать, человек ли он вообще... Все неверно, все истолковано так, как хотелось бы тому или иному рассказчику... Хотя даже я, свидетель и участник всех событий, начинаю иногда путаться и уже не понимаю, что видел сам, а о чем мне только рассказывали ангелы Джуда...

Наш народ, пришедший в Кенан из-за реки Арахту – народ кочевников и пророков, великий народ, – всегда любил приукрасить свою историю. Ибо, если ничего хорошего не случилось с тобой в прошлом, чего тогда ждать от будущего, кроме бед и несчастий? Так уж устроен наш народ, да и любой народ, даже неблагородное йеменское племя Джухрум, укравшее нашу удачу. Племя, которое воспользовалось смятением, охватившим нас, когда нам показалось, что господин лишился рассудка, и им завладел Другой. Мне трудно говорить об этом, но только мое вмешательство спасло тогда господина и обоих его сыновей от страшной и нелепой смерти. Надо признать, Второй всегда ревновал господина к Первенцу, потому что, и это тоже следует признать, господин любил Первенца больше, чем Второго... Но тут эта история свивается кольцами, как старый волосяной аркан, и как тот же аркан, завязывается узлами, путается, то и дело возвращается к началу – и вдруг оборачивается змеей, готовой ужалить меня, вспоминающего обо всем случившемся.

Разве так бывало раньше, чтобы жизнь одной семьи влияла на судьбы мира? Мира, в котором то и дело вспыхивали войны, гибли целые народы, сменялись правители, возникали и исчезали с лица земли великие города... А семья терпеливо и неумолимо, как верблюды в пустыне, несла свое великое предназначение. Правда, не просто семья, а семья моего господина – существа великого и необъяснимого. Хотя, когда речь заходила о близких ему людях, будь то друзья или враги, он вел себя как самый обычный человек... Уж я-то хорошо это знаю, потому что служу ему очень давно, с той поры, когда совсем еще молодой господин только собирался жениться. Поэтому мне известно о нем многое из того, что позже, когда все мы приняли завет Единого, стало считаться запретным и даже постыдным, вроде мальчишеских игр с козами... В жены он взял дочку богатого человека по имени Лахадж. Кое-кто тогда

утверждал, что Лахадж был пророком, но мне трудно поверить в это, потому что Лахадж преуспевал в торговле и считался одним из самых успешных купцов во всей Бабелле.

Господин в ту пору был очень беден. Родня – два брата и племянник – осталась в Уре, отец – бывший военачальник, к которому он и приехал в Бабеллу, – внезапно умер, не оставив ему никаких средств к существованию. Господину пришлось устроиться на работу в лавку в квартале Куллаб, где он продавал женщинам украшения и яркие ткани, привезенные из Мицрама. Шари, тогда еще совсем молодая, красивая и капризная младшая дочь Лахаджа, однажды увидев господина, зачистила в эту лавку. Что и понятно: на господина тогда заглядывались и девицы, и любители ласкать мальчиков, и сами мальчики... Он был красив, мой господин. Но меня, тогда еще совсем молодого, привлекла к нему не красота. Единый не дал мне возможности наслаждаться плотью. Вернее, отнял ее у меня с самого рождения... Но зато Он подарил мне способность предвидеть будущее. Впервые встретив своего господина, я сразу понял не только то, что ему предназначено стать моим повелителем, и что судьба моя рядом с ним будет не из легких, но и что именно этот человек станет одним из самых великих людей на земле...

Это оказалось непростым делом – напроситься в слуги к такому бедняку, каким был тогда мой господин. Три дня я стоял перед лавкой на коленях, умоляя его взять мою жизнь. Три раза мне приходилось откупаться от стражи, которую господин звал, чтобы связать меня, ибо, по его словам, слишком устал от постоянных приставаний: он собирался жениться на богатой невесте, а всем известно, что мужчины, уделяющие много времени мальчикам, теряют способность к рождению детей.

В конце концов мне удалось убедить господина с помощью простейшего рассуждения: разве его будущему тестю, который и без того берет его в семью только по настоянию любимой дочери, не будет приятно узнать, что у зятя-голодранца все-таки кое-что есть. Например, преданный слуга. Благодаря своему дару предвидения я знал, какой скандал устроила Шари в доме своего отца, чтобы добиться разрешения стать женой моего господина. Лахадж в гневе и бессилии разбил три драгоценных наполненных розовым маслом сосуда из страны Мод, которые собирался выгодно продать розничным торговцам. С тех пор и до конца жизни он не выносил запаха розового масла, потому что оно напоминало ему о проявленной слабости. Лахадж не любил моего господина даже тогда, когда тот стал знаменитым и почитаемым. Люди редко прощают другим свои слабости. Так было, так есть и так будет. Мой господин не однажды испытал это правило на себе.

Свадьба была пышной: молодая на белой ослице объехала, как и положено, все восемь ворот Бабеллы, ведущие к восьми храмам богов, которые теперь мне, познавшему Единого, кажутся проявлением человеческой глупости и издевкой Другого. Мой господин – я видел это, сидя недалеко вместе с остальными слугами, которых в доме Лахаджа было множество, – так вот, мой господин был очень весел на свадебном пиру, много ел, а потом запел, то и дело ударяя себя по ляжкам и ласково поглядывая на тестя, который от его взглядов морщился и брезгливо отворачивался.

Торжество немного испортила сама невеста, которая в начале пира сидела с матерью и подружками в отдельном шатре. Даже мне, умеющему предвидеть многое, до сих пор непонятно, почему Шари вскочила со своего места и, скользя босыми ногами по густо залитой жертвенной овечьей кровью земле, подскочила к мужу. Что именно она говорила, я не слышал, но речь шла об одной из ее хорошеньких служанок. Скандал вышел большой: невесте не положено дотрагиваться до жениха до того, как он войдет к ней ночью. Шари, которой ни в чем не было отказа в родительском доме, пренебрегла такой мелочью, как обычай, потому что не захотела мириться с тем вниманием, которое проявляли по отношению к моему господину другие женщины. Это был первый, но далеко не последний скандал в семье моего господина.

Но все проходит... Прошел свадебный пир, прошла брачная ночь... Я знал о том, что Шари еще множество раз будет пренебрегать и обычаями, и чувствами других людей. Но как бы там ни было, а любивший свою дочь Лахадж устроил молодым хороший дом, а потом купил моему господину ту самую лавку, в которой тот работал до свадьбы. Нет, Лахадж не был пророком. Ибо даже мне, видящему чуть дальше собственного носа, было ясно, что никакого толка от этой торговли не будет. Так и случилось. Мой господин плохо умел обращаться и с товаром, и с деньгами. Даже моя помощь не могла ничего изменить. Видимо, Единый, наделив меня даром предвидения, взамен отнял не только возможность предаваться любовных утехам, но и умение торговать. То ли дело пасти скот!

Но прежде чем мы с господином занялись этим делом в замечательно спокойных и удобных землях Вирсавии, случилось так, что нам пришлось бежать из Бабеллы и перенести множество лишений. А виной этому, да простит меня Единый, была красавица Шари...

Многое из того, что случилось в жизни моего господина, называют теперь сказками те, кто по ночам спорит о нем у костров, распалая самих себя и обжигая бороды огнем и ложью. Наверное, я единственный, кто никогда не спорит. Я не вступаю с ними в разговор даже тогда, когда они просят меня рассудить их. Если бы у меня был сын, наследник, ему бы я поведал всю правду. Но я одинок, поэтому разговариваю только со звездами, которые и без того знают обо всем.

Своенравная и капризная Шари, до сей поры жившая во внутреннем дворике в доме своего отца, вдруг сама стала хозяйкой; ибо мой господин, при всем моем уважении и любви к нему, не был господином ни в своем доме, ни, кажется, в своей постели. Потому что Шари, несмотря на все свои старания, никак не могла понести. Она стала настаивать на жертвоприношении богам, в особенности чтимому в Бабелле Черному Бааллу, рассчитывая заслужить расположение этого кровавого идола и принести господину потомство. Сам господин очень противился этому, и я знал, почему: еще у себя на родине, в Уре, он однажды увидел во сне Единого и так уверовал в Него, что ввязался в странную историю, когда в компании с такими же молодыми парнями повалил несколько священных идолов. Я называю эту историю «странной» из-за того, что вынужден свидетельствовать: мой господин не стал полагаться на слово Единого, который, по его словам, велел ему идти и ничего не бояться,

а бежал от гнева урийских властей в Вавилон. Стоило уверовать в Единого, чтобы тут же усомниться в Его всеисии и Его обещании – и спасти свою жизнь бегством? Думаю, не обошлось здесь без Другого...

Впрочем, должен признаться... это признание я не могу доверить никому из людей, только слушающим меня звездам... Мой господин так часто выяснял свои отношения с Единым, что даже я, обладающий даром предвидения, порой терялся в догадках, кем же он представляет себе Его – владыкой всего сущего? богатым и могущественным родственником? надоедливой попрошайкой, которому проще бросить милостыню, чем прогнать? Никогда не мог этого понять... Возможно, именно поэтому мой господин – величайший человек из живущих, а я всего лишь его старый брюзгливый слуга. А в чем его величие, я и пытаюсь объяснить – если не звездам, то хотя бы самому себе.

Шари окончательно вывела моего господина из себя, когда заявила, что Бааллу нужно принести в жертву невинного младенца, которого в ту пору нетрудно было купить у черных торговцев на рынках Вавилона. Впервые господин возвысил голос на Шари, назвав ее жалкой глупой курицей, не понимающей подлинного смысла бытия и величия Единого и идущей на поводу у тянущих у нее деньги жрецов.

– Никогда, – кричал господин так, что торговцы холодной водой останавливались перед нашими воротами, думая, что их зовут в дом, – никогда Единый не позволит нам проливать невинную кровь! Идолопоклонница! Чтобы и духу Баалла в моем доме не было!

Я видел, как, отвернувшись, незаметно усмехнулась Шари. Она-то прекрасно помнила, кому принадлежит их дом. А что касается Баалла, то Шари и без того не особенно любила этого злобного божка. Правда, ходили слухи, что еще девушкой она принимала участие в ночных бдениях в храме Иштар...

К сожалению, ее усмешку заметил не только я, но и сам господин. Он увидел лицо отвернувшейся жены в привезенном на свадьбу друзьями Лахаджа редком подарке – листе бронзы, отполированном так, что в нем отражались люди и предметы. Этот бронзовый лист был приставлен к стене, и сама Шари то и дело подходила к нему, чтобы полюбоваться своим отражением. Я часто наблюдал, как она, удивленно вскидывая брови, показывала ему розовый язычок или, изогнувшись, разглядывала свою спину и бедра.

Не могу сказать, почему усмешка Шари показалась господину настолько оскорбительной, что он, разозлившись, ударил ее по лицу. Шари с грохотом стукнулась затылком о свое бронзовое отражение, а я поразился силе своего господина, о которой никогда не подозревал...

Если бы это слышал кто-либо, кроме звезд, он мог бы обвинить меня во лжи, той самой лжи, в которой обычно обвиняют всех свидетелей великих дел. Во лжи и зависти. Но нет во мне ни того, ни другого. Хотя искус приукрасить прошлое, придать ему мнимой значительности иногда посещает и меня. Но я не посмею врать звездам, пусть даже моя история – всего лишь история ограниченного слуги, оценивающего своего господина по его мелким домашним делам и поступкам.

Господин и сам испугался, когда у Шари из носа хлынула кровь. Он даже протянул руки, как будто пытаюсь остановить ее. Но Шари успела немного прийти в себя и, не смущаясь тем, что кровавое пятно расплывалось у нее на груди, выскочила из комнаты. Обернувшись на пороге, она крикнула господину, что уходит к отцу, что больше не желает жить с дураком и тряпкой, и что он еще узнает, чей это дом и что значит поднимать руку на дочь самого Лахаджа. Признаюсь, ее лицо с распухшим носом и окровавленными губами было пугающим, а взгляд, остановившийся на господине, острым и колючим как копье. В тот момент легко было поверить, что она знает толк в таинственных и страшных мистериях Иштар.

Когда Шари исчезла, мой господин вопросительно посмотрел на меня, как будто сомневаясь в истинности того, что только что произошло. Благодаря своему умению видеть будущее я понимал, что, конечно, неосторожно было со стороны моего хозяина ударить молодую жену, хотя это как раз грех прощительный: кто из мужчин не наказывал своей жены или наложницы? Но трижды неосторожно было дотрагиваться до любимой дочери Лахаджа, особенно препятствуя ее намерению принести жертву Бааллу. Это было уже по-настоящему опасно. Я не знал, чей гнев окажется страшнее – божка или всесильного богача.

И снова должен признаться, что именно я уговорил господина бежать. Господин колебался. Что поделаешь, у великих людей бывают свои слабости: стыдно говорить, но значительно позже, когда мы, голодные и оборванные, уходили из Кенана на юг, мне пришлось самому перерезать горло двум пастухам, чтобы завладеть их шатром. Мой великий господин почему-то потерялся при виде их крови и сказал, что Единый не простит ему насилия... Правда, в ту ночь – да и потом, когда мне и другим приходилось убивать, чтобы выжить самим, – господин не отказывался ни от еды, ни от шатров, доставшихся нам столь ненавистным ему способом. Если бы он не был так велик, я мог бы заподозрить его в трусости...

Мы бежали той же ночью, как только погасли все факелы в округе. Взяв только самое необходимое, мы с господином, спотыкаясь в темноте, пробрались вдоль Новой стены к мосту через Арахту и почти бегом пересекли Восточный город, чтобы без следа раствориться в Кенанской пустыне. Я знал, что отрезаю господину путь назад, в город и в лавку, но делал это, потому что так же твердо знал, что его ждет предуготовленное Единым великое будущее. Но о таком будущем хорошо говорить, оглядываясь назад, когда оно стало прошлым. А пока мы с господином плелись в полной темноте, не разбирая дороги, потому что даже звезды, мои единственные свидетели и слушатели, не были зажжены Единым в ту ночь.

Наконец, уже под утро, когда силы наши были почти на исходе, из небольшой ложбинки на нашем пути выскочил встрепанный человек с выпученными глазами. Размахивая широким ножом, он с рычанием бросился на нас и наверняка зарезал бы господина, если бы я не преградил ему дорогу. Но этот человек не стал убивать меня. Наоборот, разглядев в лучах восходящего солнца лицо господина, он бросил нож в песок и снова закричал, на сей раз от радости. И когда ко мне вернулась способность думать, я узнал

его и позволил себе рассмеяться. Во время свадьбы господина этот человек, называвший себя Нахором, примкнул к толпе, сопровождавшей белую ослицу Шари, и пытался выдать себя за брата господина. Это был наглый нищий, каких немало в бедных кварталах Бабеллы. Никакой опасности этот Нахор, даже вооруженный ножом, не представлял: он слишком дорожил своей жизнью, чтобы пытаться отнять чужую.

Вглядываясь в звезды, я чувствую, что память начинает подводить меня, заставляя выбирать из прошлого кажущиеся мне важными подробности и обходить стороной то, что помнится хуже или представляется мне, дерзкому, недостойным внимания. Вся эта история, которая разматывается, как аркан, нужна только для того, чтобы помочь мне понять самое главное, случившееся со всеми нами. То самое, что знают звезды и создавший их Единый, но не я, дерзкий раб, вынужденный мучительно размышлять столько лет... Не знаю, как сказать о нем, ибо оно не имеет не только названия, но даже определения. Это о нем теперь спорят у ночных костров жалкие бородатые мудрецы. Наверное, все наши скитания и потери были чем-то вроде долгих испытаний, которые проходит любой воин для того, чтобы однажды в один-единственный миг не дрогнуть и оказаться достойным выполнить то, что ему предназначено... Если бы я мог с уверенностью сказать, что был достойным своей скромной доли! Спустя много лет, почти на пороге смерти, которую я вижу так же ясно, как эти звезды, я понял, что жизнь каждого из нас, подчиненная воле Единого, только на крохотное мгновение отдается в руки человека, и именно на это мгновение он становится равным Ему... или окончательно теряет себя. Таких мгновений в жизни обычных людей бывает несколько, но в жизни людей великих – всего лишь одно...

Почему я вспомнил этого жалкого самозванца Нахора? Наверное, потому, что он неожиданно для меня тоже стал служить моему господину – и сослужил-таки странную службу.

Побродив несколько дней, не найдя ничего съестного и утолив мучительную жажду из мутного ручейка, неведомо откуда взявшегося в пустыне, мы поняли, что нужно либо отправляться дальше на юг, рискуя умереть с голоду, либо держаться поближе к городской стене Бабеллы, где можно было найти пропитание. Что, впрочем, тоже было рискованно: городская стража не любила оборванцев, готовых поживиться чем придется... Но господин решил иначе. Доверившись Нахору, он отправил его в город, вручил ключ от лавки и приказал принести оставшиеся там деньги... ну или хотя бы украсть на базаре какой-нибудь еды. О том, что будет с нами потом, он не говорил, но мне казалось, что я ясно вижу его желание.

Не устану повторять, что господин мой – человек великий и необычный. С этим, к счастью, не спорят даже наши бородатые болтуны. Поэтому, наверное, я часто не мог предвидеть действий моего господина и ошибался, пытаюсь предсказать, как он поступит в том или ином случае. На этот раз я ошибся дважды. Нахор отсутствовал так долго, что господин заволновался. Я решил было, что он волнуется из-за отсутствия еды, ибо не мог же он беспокоиться о жизни несчастного Нахора.

Нахор появился тогда, когда я уже начал подумывать, что следующим в город придется отправляться мне. Какой смысл Нахору хранить верность моему господину? Я видел его глаза и знал, что этот человек легко мог бы найти себе службу попроще. Он вообще легко менял все, что мог поменять с выгодой для себя: друзей, верования, женщин, овец и коз... Но в тот раз Нахор верно послужил моему господину.

Не сразу я понял, что господину удалось обмануть меня в тот день, когда он ударил Шари. Ничего он не боялся, а просто хотел избавиться и от лавки, и от Лахаджа. Но это понимание пришло ко мне много позже, когда нас, слуг и друзей, у господина значительно прибавилось, и мы все вместе бежали дальше на юг. Мы вообще все время куда-то бежали. Может быть, потому, что трудно сказать, кого у нас было больше – пастухов или пророков...

А тогда мы с господином сидели за большим камнем, брошенным за ненадобностью строителями Внешней стены, я развел из сухой травы скудный костерок, и вдруг из темноты вынырнул Нахор с тяжелым свертком подмышкой. Собравшийся было прибить подлого раба, заставившего моего господина так долго голодать, я замер с поднятой рукой. Вслед за Нахором у костра появилась невысокая хрупкая фигурка, с головы до ног закутанная в плотный куннет. Но мне не нужно было смотреть на нее дважды, чтобы понять свою ошибку. Господину снова удалось меня провести.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕ

Сколько раз я зарекался верить пустым обещаниям и людям, убедительно их раздающим... Удивительно, какое множество людей совершенно бескорыстно лжет вам и обещает заведомо невыполнимые вещи. Этим людям почему-то важно заронить в вас зерно надежды, которому не суждено прорасти. Они рисуют перед вами заманчивые картины, а потом искренне радуются вашему недоумению... Даже зная, что такие обещания обычно заканчиваются горьким разочарованием, я много раз ловился на них. Ловился просто потому, что очень уж хотелось верить: черная полоса должна наконец-то смениться белой...

Когда Рита почти насильно увела меня за собой, чтобы определить на хорошо оплачиваемую – почти по специальности – работу, странные мысли полезли мне в голову. Чего она хочет от меня? Чтобы я работал в ее фирме? Но она совсем не похожа на преуспевающих бизнес-леди, хватками и манерами смахивающих на голодных пираний! Правда, не похожа она и на любительницу молодых мужчин, да и я не гожусь на роль жиголо, но... Наверное, Рита умела читать мысли. Потому что резко остановилась и бросила на меня колючий взгляд.

– И-и, милай! – пропела она, умело подражая бабе из простонародья. – Да кабы я хотела с тобой закрутить... Только ничего этого, голубчик вы мой, не будет.

И добавила она в своей обычной манере:

– Вы уж не обессудьте. А работы у вас будет много. Как только мы попадем в офис, вы получите первое задание.

Мы прошли по знаменитому брайтеновскому променаду, называемому в народе «бордвоком», свернули к стоявшему почти у самой воды многоэтажному жилому дому и вошли в подъезд. Поднялись на лифте на последний двенадцатый этаж, и Рита повела меня по длинному коридору. «Странное место для офиса», – подумал я. И снова, в который раз, Рита угадала мои мысли.

– Вы, вероятно, спрашиваете себя, почему наш офис расположен в таком необычном месте. На это есть, как минимум, две причины. Во-первых, мы не работаем с клиентами с улицы, и я не хотела бы, чтобы ко мне в кабинет врывались случайные люди; во-вторых... Ну да вы сейчас сами все поймете.

Она распахнула дверь, и мы оказались в просторном холле, две стены которого были стеклянными. За стеклом открывался захватывающий вид на океан и далекий нью-джерсийский берег.

– Ну вот, – кивнув на окно, с гордостью сказала Рита, – видите? Это и есть вторая причина.

Оказавшись у себя в офисе, Рита сразу изменилась. Даже ее глаза больше не удивляли меня. То, как по-детски она похвасталась видом за окном, было смешно, но очень понятно. Я огляделся по сторонам. Справа от двери, прямо в холле, стоял стол с компьютером и высоким кожаным креслом, а слева через открытую дверь можно было разглядеть еще одну комнату, где тоже стоял стол с компьютером. Судя по тому, что монитор второго компьютера был больше, а кресло выше и удобнее стоявшего в холле, это был кабинет самой Риты. И в холле, и в кабинете возвышались стеллажи с книгами в солидных кожаных переплетах, на первый взгляд, казавшиеся более уместными в адвокатской конторе. Впрочем, мне и раньше доводилось встречать странные фирмочки, занимающиеся абсолютно всем, за что доверчивый клиент был готов им заплатить – от риэлторских или юридических услуг до стрижки собак...

Рита на секунду скрылась в кабинете и сейчас же вернулась назад, держа в руке одну из книг. При ближайшем рассмотрении оказалось, что от книги остался один только переплет: внутри находились какие-то бумаги, частично отпечатанные на принтере, а частично написанные от руки.

– Ну вот... – Рита отодвинула от себя книгу и дальнорозко сощурилась, – для первого раза поручу-ка я вам вот это... Да вы садитесь, Паша, садитесь, это теперь ваше рабочее место.

Рита кивнула на кресло перед компьютером.

– А-а, – протянул я, – а другие сотрудники, они...

– Они существуют. Их немного, всего пара-тройка человек, но зато лучшие из лучших. Вы с ними познакомитесь в ближайшее время. Сейчас они

заняты, что называется, на местах, а в офисе появляются только время от времени. Да и сама я, честно говоря, бываю здесь не каждый день. Но вы, думаю, будете трудиться именно за этим столом. Впрочем, чтобы лучше вникнуть в детали, один раз вам придется, наверное, принять участие в пэ-вэ... Не удивляйтесь, у нас выработался своеобразный профессиональный жаргон. Вы его освоите довольно быстро. И вникните в нюансы своей работы, надеюсь, тоже.

Заметив мой вопросительный взгляд, Рита рассмеялась, извинилась за рассеянность и присела передо мной на краешек стола, прижав к груди переплет с бумагами. В эту минуту она больше всего походила на добрую учительницу, начинающую свой первый урок с первоклашками.

– Так вот, – сказала она, – сначала я должна объяснить вам, чем мы тут занимаемся. Ну и, разумеется, рассказать о том, над чем будете работать вы.

Пока она говорила, сходство с учительницей то усиливалось, то исчезало, и я невольно подумал, что в Рите пропадает прекрасная актриса. Кроме того, она, несомненно, была талантливым психологом. Тут же выяснилось, что она и в самом деле психолог: закончила факультет психологии Московского университета и много лет проработала по специальности.

– Собственно, я до сих пор занимаюсь именно психологией, но, так сказать, прикладной. А теперь перейдем непосредственно к вашим обязанностям.

Рита немного помедлила и спросила:

– Вы по-прежнему считаете себя писателем, не правда ли?

Я неуверенно кивнул. Называть себя писателем или литератором всегда казалось мне нескромным. Но Рита не стала вдаваться в такие мелочи.

– Рада это слышать. Потому что здесь вам придется писать...

И широко улыбнулась мне.

– Помнится, вы называли свои рассказы «враками». Вот эти самые враки вам придется сочинять для нас в большом количестве и, желательно, самого высокого качества. Только теперь это будут не романы и не рассказы, а, скорее, сценарии. Но сценарии специфические. Потому что наша фирма занимается проверкой людей... как бы это лучше объяснить? Впрочем, мой партнер Феликс, с которым вам еще предстоит познакомиться, называет это хоть и грубовато, но точно – «проверкой на вшивость». Отсюда, кстати, и аббревиатура «пэ-вэ»... Так вот, наша задача – создавать ситуации, в которых проверяемый вынужден проявлять свои подлинные качества в той области, которая интересует компанию-заказчика. Это ясно?

Видя, что я не выражаю готовности кивнуть, Рита на секунду прикрыла глаза и терпеливо улыбнулась.

– Разумеется, вы не совсем понимаете, о чем я говорю, потому что еще не отвыкли от привычных стереотипов мышления. Видите ли, существует целый ряд частных или государственных структур, руководство которых хочет получить неформальные доказательства лояльности своих работников, а то и просто их порядочности – и потому пригодности к выполняемой ими работе. Теперь понимаете? Существуют формальные способы проверки вроде

полиграфа или скрупулёзного изучения прошлого своих сотрудников. Но... согласитесь, что полиграф при надлежащей подготовке не так сложно обмануть, а безупречное прошлое не обязательно указывает на столь же безупречное будущее. Иначе не существовало бы шпионов-перебежчиков, а солидные директора крупных корпораций никогда не обманывали бы своих доверчивых вкладчиков... В общем, как вы догадываетесь, спрос на наши услуги высокий. Например, детективные агентства, предлагающие своим клиентам надежную охрану, очень желают знать, насколько этим охранникам можно доверять в, так сказать, экстраординарных ситуациях. Да и вообще богатые заказчики часто хотят быть уверенными в своих людях. Я уже не говорю о мужьях и женах...

Тут Рита поджала губы и покачала головой.

– Я знаю, Паша, вы сами женаты, так что не примите мои слова в дурную сторону, но с некоторых пор я отказываю ревнивым мужьям и женам: результат уж больно предсказуемый. Тем более что заказов и так больше, чем мы способны выполнить. Заказов куда более выгодных и интересных.

Кажется, я начинал понимать. Более того, о чем-то подобном мне даже приходилось слышать. Но мое уголовное прошлое... Нет, мне вовсе не хотелось заниматься чем-то подозрительным или даже сомнительным, вроде тех относительно безобидных вещей, о которых говорила Рита.

– Я понимаю, – тут же отозвалась на мои сомнения Рита, – вам не хотелось бы принимать участия в сомнительных акциях. Но вам и не придется это делать. Вам, Паша, предназначена другая роль... Вы будете *придумывать* необходимые заказчику ситуации, а другие сотрудники будут их разрабатывать. Ну что, согласны?

Я поднял на Риту глаза и снова поразился несоответствию немолодого лица и ярких блестящих глаз. Похоже, ей самой очень нравилось то, чем она занимается. Я колебался. Рита – человек странный, достаточно было вспомнить обстоятельства нашего знакомства. С другой стороны, было бы гораздо приятнее сидеть здесь в тишине и покое вместо того чтобы возиться с чужими ногами...

– Ах, совсем забыла! – Рита состроила виноватую мину и тут же снова улыбнулась. – Я же не назвала размер компенсации, которую мы можем предложить за ваши услуги. Что вы скажете, если еженедельно мы будем платить вам?..

Она назвала такую сумму, что я, уже догадываясь, что речь пойдет не о копейках вроде тех, которые я зарабатывал у Коца, чуть не подпрыгнул в кресле. Что скрывать, за *такие* деньги я был готов сочинять любые сценарии. Унизительная тяжесть финансовых забот мешала дышать, изматывала волю и отнимала силы. И если появилась возможность вырваться из этого состояния, пусть даже ненадолго... Да, Рита была права: ни за что не откажусь от такого предложения!

Видимо, что-то изменилось в моем лице, потому что Рита удовлетворенно кивнула головой и положила мне на колени кожаный переплет.

– Ваш первый клиент, – торжественно сказала она. – Мне показалось, что вам будет проще начать работу именно с него. Открывайте, открывайте дело, вам предстоит тщательно с ним ознакомиться.

Я послушно раскрыл дело и обомлел. Юрий Шумкин. Этого человека я хорошо знал. Высокий улыбчивый мужик, бывший совладелец радиостанции, на которой я раньше работал. Шумкин вел передачи о том, что происходит в бруклинском горсовете. Говорил при этом плохо и сбивчиво, что не мешало ему стать безусловным любимцем всех пожилых женщин в округе. Судя по листовке с его фотографией, лежавшей сверху, Юрий, почему-то сменивший имя на Ури, собирался баллотироваться в Законодательное собрание штата. Надо же, язвительно подумал я, видимо, старушки оказались серьезным электоратом. Но вообще-то Шумкин всегда казался мне хоть и недалеким, но совершенно безобидным человеком. Странно, кому могло понадобиться проверять его на вшивость? И, главное, зачем?..

– Ну вот, – Рите явно не терпелось посвятить меня в детали, не ожидая, пока я, как мне было велено, внимательно ознакомлюсь с делом. – Этого человека вы, конечно, знаете. И это хорошо. С одной стороны. А с другой... у вас, наверное, сложилось свое мнение о Шумкине, установились с ним какие-то отношения. Ну что ж, посмотрим, посмотрим... Так вот, о деле. Я не буду пока раскрывать имя заказчика, это неважно. Вам нужно только знать, что клиент должен пройти комплексную проверку общего уровня. Этот комплекс мы для себя называем «Агент ноль-ноль семь».

У нас существует и другие проверки, более специфические, направленные на выявление конкретных человеческих склонностей и слабостей. Но о них после. Боюсь, чрезмерное количество информации собьет вас с толку. Тем более что у вас неизбежно возникнут вопросы. Например, какие средства имеются в нашем распоряжении, какие приемы использовать можно, а от каких лучше воздержаться...

Ритина лекция была прервана громким звонком в дверь. Рита чуть вздрогнула, но тут же с улыбкой повернула голову к входу. Я тоже повернулся и увидел, что в офис входят двое. Молодая красивая девушка с такими огромными и такими синими глазами, что и черты лица, и фигура, и детали одежды терялись в их свете. И высокий худой мужчина средних лет в старых засаленных джинсах и майке с надписью «я тоже люблю их».

– А-а-а, – дурашливо протянул мужчина, и я сразу узнал этот тяжелый низкий бас: именно его я слышал в кабинете Коца. – У нас пополнение! Ну что ж, Ритуль, ты знаешь, кого записывать в добровольцы...

Девушка, от которой я с трудом оторвал взгляд, буднично кивнула и сразу проскользнула в кабинет Риты, а высокий подошел ко мне и протянул руку.

– Ну-с, – уже серьезно сказал он, – давайте знакомиться. Я – Феликс, партнер Риты, а эта очаровательная девушка... – он глянул на кабинет и рявкнул так, что я вздрогнул, а стекла в окнах завибрировали. – Галка! Подь сюда, дылда! Некрасиво прятаться от новых сотрудников. Тем более что это господин писатель, значит, не сегодня-завтра напишет тебе такую рольку, что

изрыдаешься вся. А может и наоборот, все зависит от того, насколько ты его вдохновишь...

Странно было слышать, как обладатель такого невероятного баса частит и болтает как изголодавшаяся по слушателям сплетница. Было видно, что Рите не по душе такая болтливость партнера, но отчего-то она не останавливала его и только брезгливо кривила губы. Мне самому не очень понравился Феликс. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от такого шутника-начальника.

– Мы с Галкой только что с пэ-вэ, – продолжал Феликс. – Что за хрень, скажу я вам! Ну и людишки пошли... Павел, – вдруг обратился он ко мне, – запомните и обязательно учитывайте это в своей работе: девяносто пять процентов населения земли – существа предельно, просто патологически тупые. Это я вам говорю! Оставшиеся пять процентов – это люди гениальные, умные и просто нормальные...

Тут не утерпела Рита.

– Самого себя ты, надо полагать, относишь к гениям, – язвительно заметила она.

– А вот и нет! – снова гаркнул Феликс. – Я не только не гений, но и гениев рядом с собой не потерплю. Нормальность – вот в чем главное достоинство человека. Быть нормальным куда труднее, чем быть гением. С нормального человека и спрос выше. Ему никогда не простят причуд, которые легко прощают натурам ярким и творческим. Да хрен с ними, с гениями! Обязательно какую-нибудь гадость придумают, не живется им спокойно, блин...

– Феликс, дорогой, не забывай, что писатели тоже люди... э-э... не совсем обычные... – вставила Рита.

Мне вдруг показалось, что эта сценка разыгрывается специально для меня. Уж очень это напоминало знакомый сценарий про хорошего и плохого полицейского. Только вот непонятно, зачем они это делали. Уж не проверяли ли на вшивость и меня тоже? Что ж, такое вполне возможно...

Из кабинета вышла девушка по имени Галина. Спohватившись, Феликс манерно познакомил нас. При этом мне показалось, что он как будто немного ревнует ее ко мне, хотя я и слова не успел вымолвить. Только этого мне не хватало!

– Ну что ж, дорогие мои, давайте вернемся к делу!

Рита сдвинула брови, снова напомнив мне учительницу, делающую внушение расшалившемуся первоклашке.

– Я только начала объяснять Павлу, что входит в круг его обязанностей. Но, разумеется, в двух словах об этом не расскажешь. Чуть позже, – обратилась она ко мне, – я познакомлю вас с наиболее удачными сценариями. Это поможет вам лучше представить себе то, чем мы занимаемся. Кроме того, вы поймете, какие приемы мы обычно используем. Но знайте, что вы совершенно не обязаны придерживаться каких-либо рамок...

– Да просто никаких рамок! – опять рявкнул Феликс. – Вон у Галки спросите, мы используем *любые* возможные средства, чтобы добиться нужного результата. Любые! – повторил он, покосившись на Галю, и я чуть

было не хмыкнул вслух, на секунду представив себе, что он имеет в виду. – В общем, пишите, фантазируйте сколько угодно. Все исполним! Но смотрите, если сценарий окажется затратным, а результат незначительным, то вычтем из зарплаты!

Феликс оглушительно расхохотался, Рита покачала головой, давая понять, что все это – неуместная болтовня, а красавица Галя пожала плечами, дождалась, когда Феликс отсмеется, и сообщила, что устала и поэтому отправляется домой спать: завтра ей вместе с Генкой ехать в Манхэттен... Голос у нее оказался низкий, с легкой хрипотцой, как будто принадлежал не молоденькой девушке, а пожилой тетке с прокуренными легкими. Да что это у них тут происходит, подумал я...

– погоди! – опять безжалостно рявкнул Феликс. – Я тоже еду! Устал как собака! Отчет для заказчика завтра составлю, ну его к черту, надоел... А вы тут работайте, работайте...

Одной рукой подхватив под руку Галя, а другой помахав нам с Ритой на прощание, Феликс исчез за дверью. В холле сразу стало пронзительно тихо. Я поднял глаза на Риту, которая, казалось, погрузившись в размышления, все еще не сводя глаз с двери.

– Да, так вот, – собираясь с мыслями, наконец, заговорила она. – Значит, сценарии... Ну да, сценарии... А знаете что? Я вот о чем подумала: пожалуй, не стоит ограничивать вашу фантазию рамками уже осуществленных пэ-вэ. Нет, мы с вами поступим по-другому. Представьте, что вы пишете сценарий для многомиллионного голливудского фильма и можете использовать все что угодно – массовку, компьютерную графику, съемки с воздуха и под водой, кровавые драки, постельные сцены... В общем, вы меня понимаете. Главное, чтобы сценарий служил своей основной цели. Если ваша фантазия покажется нам чрезмерной и трудновыполнимой, поверьте, это будет легко исправить. А вот если недостаточной... Но думаю, что этого не случится.

Она перевела взгляд на дело Шумкина, которое я все еще держал на коленях.

– Вообще-то вся документация существует в виде компьютерных файлов, но мне как-то привычнее иметь дело с бумагой. Да и надежней... Что касается Шумкина, тут все предельно просто. Я уже упомянула про комплекс «Агент ноль-ноль-семь». Так вот, этот комплекс состоит из семи ступеней, а именно – Рита для наглядности стала загибать пальцы, – отношение к деньгам, к славе, к сексу, к чужим успехам, к хорошей еде, умение держать себя в руках и, наконец, отношение к труду...

Рита лукаво смотрела на меня, как будто рассказала смешной анекдот и ждала моей реакции. Я вновь мысленно пересчитал ступени, и тут до меня дошло. Да это же...

– Да-да, – подтвердила Рита, – именно так. Семь смертных грехов...

– Но ведь, – растерянно промямлил я, – это христианские...

– Вот именно, дорогой мой, вот именно! Вы никогда не задумывались, почему, собственно, из всего многообразия человеческих грехов были выбраны и названы смертными только эти семь? Ведь не случайно же?

– А если, – спросил я, чувствуя, как меня охватывает азарт, – проверяемый окажется безгрешным? Не поймается ни на одну из предлагаемых провокаций...

– Такого, – жестким тоном заявила Рита, – еще никогда не случилось. Чаще всего у клиента оказывается склонность к двум-трем грехам, и по их комбинации можно сделать вывод, достаточный для того, чтобы заказчик составил себе представление о личности проверяемого. Несколько раз в нашей практике мы имели дело с клиентами, которые показали все семь крестов. Это тоже наш жаргон, уж простите. То есть, все семь ступеней проверки дали положительный результат. Знаете, это совсем особые люди, к которым нельзя подходить с обычной меркой... Согласитесь, семь смертных грехов – это впечатляет. Полагаю, что человек, показавший семь минусов, куда менее интересен как личность. Да и для нужд заказчика он может оказаться неподходящим.

Рита снова замолчала, словно ожидая моего ответа. Я размышлял о том, что моя работа отныне будет заключаться в создании сценариев провокаций, перед которыми не так-то просто устоять. Потом вспомнил красавицу Галю и подумал, что было бы, если на вшивость проверяли меня...

С улицы донеслись звуки сирены. Рита замерла, подошла к тому окну, из которого была видна Брайтон-Бич авеню, коротко взглянула и расхохоталась. Знаком подозвала меня и указала пальцем в ту сторону, откуда поднимался вверх густой дым. Звуки сирены приблизились и усилились. Я увидел, как по узкой улице пробираются две красные пожарные машины.

– Пожар, – странным тоном произнесла Рита. – И знаете, что горит? Медицинский центр доктора Коца! Подожжённый, должна заметить, самим доктором. Чистая работа, не правда ли?

Я ошеломленно кивнул.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДО

Я начал работать в журнале, и эта работа мне нравилась. Что касается романа, то у него, похоже, была собственная судьба. Он продолжает жить какой-то своей потаенной жизнью. Или мне это только казалось, потому что мысленно я продолжал дописывать его, вставляя новые эпизоды из жизни деда с бабкой, а потом и родителей. Когда же пришло время рассказать о самом себе, я подумал, что по сравнению с предками живу на редкость тихой, лишенной настоящих событий жизнью. Войн, включая афганскую, я благополучно избежал, голод и нестабильность наступили в России уже после моего отъезда в Америку... в общем, мое спокойное размеренное существование не нарушалось необходимостью делать трудный нравственный выбор.

Я вспоминал прадеда Вульфа и бабушку Лизу и с некоторой долей зависти думал о страшных временах, в которых они жили: ведь им то и дело представлялся случай *быть самим собой*...

Когда после погрома все более или менее успокоилось, прадед Вульф перестал ежеминутно думать о том, что он предал свою дочь, а в сарае завелись очередные жирные каплуны, случилась новая беда. На сей раз своенравная Лиза была вроде бы ни при чем. Хотя позднее, вспоминая прошлое и пытаясь понять, за что на его долю выпали такие испытания, прадед Вульф вынужден был признать, что именно Лизе тогда пришлось в голову пойти всей семьей в театр.

Дело в том, что в их городок приехала маленькая странствующая труппа еврейского театра, и все местные евреи во главе с прадедом Вульфom мучительно решали вопрос, следует ли посещать представления бродячего театра. Менее религиозная часть населения склонялась к мысли, что привезенная театром пьеса куда лучше спектаклей, которые устраивались на Пурим для местных ребятишек. В общем, просвещенная общественность городка решила, что только отсталые синагогальные служки могут цепляться за отмирающие под напором современности традиции.

И тогда бабушка Лиза, еще совсем молодая и принадлежащая к этой самой просвещенной общественности, потащила всю семью в театр. Вернее она собиралась пойти на представление сама, но было件нятно, что одну ее никто не отпустит. К тому же остальные братья и сестры, включая тех, кто уже успел выйти замуж и жениться, в один голос заявили, что и они не чужды новым веяниям и поэтому хотят попасть на этот заранее ставший модным спектакль. Прадед Вульф представил себе, как все его семейство, блистая нарядами, сидит в первом ряду, а женская его часть еще и обмахивается веерами, которые он недавно подарил дочерям... Подумал и согласился. Согласился несмотря на ворчание прабабки, которое потом, когда случилось несчастье, превратилось в стенания и требования, чтобы ее немедленно накрыли саваном, потому что она все равно уже почти как мертвая...

В общем, однажды вечером все семейство отправилось в старый сарай, где крупный негоциант и, по мнению прадеда Вульфа, не менее крупный негодяй Шмуклер обычно держал мануфактуру. Помещение подмели, устроили нечто вроде подмостков и расставили рядами стулья. Мне неизвестно, какую именно пьесу давала в тот вечер бродячая труппа. Могу только предположить, что прадеду Вульфу очень нравилось, что вся его семья, на зависть многим, сидела-таки в первом ряду, и дочери обмахивались-таки веерами, и даже само представление показалось ему вполне приличным. Семья вернулась домой в отличном настроении. Если бы не прабабка, которой эта затея с самого начала не пришлась по душе, прадед Вульф, может быть, и не пробудился бы ночью от дурного сна, и не встал бы с кровати, чтобы пойти на кухню и напиться воды из кадлушки. Позже, вспоминая тот день, прадед Вульф всегда думал, что лучше бы он тогда не просыпался, лучше бы его мучили ночные кошмары. Потому, что с тех пор в кошмар превратились его дни...

Но он проснулся, почувствовал жажду и, кряхтя, отправился на кухню. Посреди кухни стояла его дочь Софа, полностью одетая и держащая в руке узелок с вещами. Прадед Вульф сначала ничего не понял и решил было, что Софа откуда-то вернулась в такое позднее время. Это было бы страшным, неслыханным делом для приличной еврейской семьи, но действительность оказалась еще хуже. Наверное, поэтому прадед Вульф повел себя так странно. Когда обнаруженная отцом красавица Софа объявила, что уходит из дому, потому что ее приняли в труппу того самого театра, он не поднял шум и не разбудил жену, как опасалась дочь. Может быть, он не сделал этого потому, что понимал: жена больше никогда не даст ему покоя. Но, скорее всего, он просто растерялся: даже во время погрома он знал, что сохраняет власть над семьей, и вдруг его красавица-дочка, которую он намеревался вскорости выгодно выдать замуж за сына негодяя Шмуклера, навлекает на него такой позор. Ведь всем известно, каковы нравы в актерском мире, да и вообще дочери не должны убегать с бродячим театром, пусть даже и еврейским...

В общем, прадед Вульф растерялся, и как будто чья-то рука, безжалостная и твердая, сжала ему горло. Вот как, оказывается, легко детям пойти против его воли... Должно быть, Софа обладала не менее твердым и упрямым характером, чем Лиза. В противном случае, увидев отца, всегда такого уверенного и властного, а сейчас растерянного, даже жалкого, она осталась бы дома. Но Софе шел семнадцатый год, она была молодой и потому жестокой; кроме того, она была твердо уверена, что впереди ее ждет необыкновенная судьба. Забегая вперед, могу сказать, что это один из немногих случаев, когда судьба оказалась еще более удивительной, чем могла себе вообразить маленькая еврейская девочка из глухой украинской провинции. Более того, возможно, именно ее бегство позднее спасло семью от гибели в нацистских печах.

Прадед Вульф, конечно, и представить себе не мог, что ждет его дочь. Он думал о своем позоре и о том, что теперь всю оставшуюся жизнь ему придется притворяться перед женой, делать вид, что он ничего не знал о бегстве Софы. И еще он думал о том, что скажет соседям...

А Софа, стоило ей закрыть за собой дверь, совсем забыла о несчастном отце. Ее ждала большая красивая жизнь! Трудно сказать, сколько времени она ездила по городам и весям с труппой бродячего театра. Можно предположить, что ей пришлось испытать. Я уверен, что все испытания и унижения только закалили ее характер и научили пользоваться своей красотой и молодостью. Ибо нравы бродячих актеров и в самом деле были довольно свободными, в этом прадед Вульф не ошибался. Он только не мог предположить, что его дочь вполне освоится в этом мире и сможет извлечь пользу из того, чем довольно щедро одарил ее Бог. И речь не только о ее довольно посредственном голосе...

Незадолго до первой мировой войны, когда Софа окончательно разочаровалась и устала от бродячей актерской жизни, она, не долго думая, сбежала из труппы с красавцем румыном, обещавшим ей все блага мира и ангажемент в знаменитую парижскую Гранд Опера в придачу. Софа прекрасно понимала, что, скорее всего, румын врет, кроме того, он был нечист на руку. Но он предлагал ей избавиться от надоевшей рутины, от полуголодного и уже

невыносимого существования актрисы бродячего театра. И самое главное, у нее был легкий характер, и потому ее мечта о прекрасном будущем не только не съежилась от грязной изнанки настоящего, а, наоборот, казалась еще привлекательней. Ну и потом Софе всегда нравились черноволосые и черноглазые мужчины с крупными носами и жесткой щетиной на щеках...

Так Софа попала в Париж. Румын, конечно, оказался воришкой средней руки, который рассчитывал, что красота Софы поможет ему проворачивать всякие темные делишки. Но Софа была девушкой из приличной еврейской семьи. Кроме того, стоило ей выйти на свое первое дело, когда ей пришлось отвлекать внимание французского офицера, она натерпелась столько страху, что полученная в конце концов стопка франков показалась ей ничтожным вознаграждением за пережитое. Да и потом ей все время хотелось оправдать свой побег из дому какими-то серьезными жизненными успехами. Как это ни странно, но она не забывала о семье, да и глаза прадеда Вульфа в тот момент, когда навсегда закрывала за собой дверь, тоже, оказывается, запомнила. К тому же Софа была убеждена, что ее воспитание и амбиции несовместимы с карьерой вульгарной воровки. Иными словами, Софа обладала пусть своеобразным, но стержнем.

Она ушла от румына и после нескольких дней лихорадочных поисков работы устроилась певичкой во второразрядное заведение где-то в районе Трокадеро. Жизнь входила в свою колею, и Софа даже подумывала было, не отправить ли письмо родным с рассказом о своем удивительном успехе в Гранд Опера, о поклонниках и цветах, о ресторанах и бриллиантах, о прочих признаках счастья, успеха и достатка, которые, как ей представлялось, помогут получить прощение отца и вызвать зависть остальных родичей. Может быть, она даже написала бы им, что познакомилась с самим бароном Ротшильтом, о котором отец отзывался с превеликим уважением. Хотя это, наверное, было бы все-таки слишком...

Однажды летом, когда Софа, получив порцию жидких аплодисментов от распаренных духотой посетителей, уже собиралась уйти за кулисы и выпить там, наконец, холодного пива, она заметила сидящего за ближним столиком мужчину, не сводящего с нее глаз. По ее молниеносной оценке он вряд ли принадлежал к местным бездельникам-бульвардье – основным посетителям их заведения. Судя по дороговому костюму и бриллиантовым запонкам – если они, конечно, настоящие, – эта рыбка была совсем из другого пруда, и оставалось только гадать, что могло занести ее сюда.

Заметив взгляд Софы, мужчина смущенно улыбнулся и неловко развел руками, приглашая ее к своему столику. Вообще-то хозяин заведения строго-настрого запрещал певичкам подсаживаться к посетителям без его ведома, но бриллианты на запонках ослепительно сверкнули и – если только они настоящие – окончательно решили дело.

Бриллианты оказались настоящими. В каком-то смысле ненастоящим оказался их владелец. Мустафа Валид Оглы до недавнего времени был довольно скромным торговцем в маленьком предместье маленького города Баку. Вернее, город был маленьким до того момента, как компания Нобеля начала там промышленную добычу нефти. С тех пор он сильно изменился.

Изменились и его жители. Оказалось, что нефти вокруг много, и довольно часто владельцы крохотных – безводных и потому никому не нужных – участков земли становились миллионерами-скоробогачами, потому что работники Нобеля охотно скупали такие нефтеносные участки и платили за них довольно щедро.

Одним из счастливых оказался и Мустафа. Из пробуренной на его земле скважины забил мощный нефтяной фонтан. По своим убеждениям Мустафа был достаточно современным человеком. Получив крупную сумму за участок, он стал партнером другого бакинского миллионера, Тагиева, и начал активно приобщаться к европейскому стилю жизни. По мнению большинства новых знакомых Мустафы самым подходящим для этого местом был Париж. Мустафа отправился во Францию. Но попав в Париж, он растерялся. Что и понятно: это было его первое путешествие за пределы Азербайджана, к тому же французского Мустафа не знал; он и по-русски-то объяснялся с трудом. Да и вообще он еще не успел привыкнуть к своему внезапному богатству и не понимал, как им распорядиться в свое удовольствие. Тем не менее, оказавшись в большом незнакомом городе, он ухитрился снять себе номер в дорогой гостинице неподалеку от вокзала, а потом отправился в ресторан, где заплатил сумасшедшие деньги за дюжину устриц, которые побоялся попробовать, и шампанское, показавшееся ему нестерпимо кислым.

Немного потерянный, он долго бродил по улицам, где за весь вечер не встретил ни одного знакомого лица, и вдруг почувствовал, что ему никогда не стать своим в этом холодном чужом городе, никогда не выучить этого журчащего языка... да и вообще, Мустафе вдруг остро захотелось домой. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы тут же не отправиться на вокзал. Черт возьми, думал он, это же Париж, город греха, как будто созданный для развлечений... Что скажут друзья, если он вернется, пробыв в Париже всего один день и даже не прикоснувшись к тем соблазнам, которые, по словам друзей, просто рассыпаны здесь на каждом шагу.

Так Мустафа попал в заведение, где пела Софа. Она понравилась ему сразу, потому что была достаточно красива, но еще и потому – и это, наверное, главное, – что в тот момент исполняла не модный французский шансон, а какую-то русскую песню. Поняв, что перед ним девушка из России, азербайджанец Мустафа сразу почувствовал в ней единственное родное существо, с которым в этом городе тоскливого одиночества можно хотя бы разговаривать. Мне кажется, он и сам не очень понимал, для чего приглашает Софу за свой столик. По крайней мере, у него и в мыслях не было покупать *такую* девушку на ночь. Софа же своим обостренным в житейских передрыгах умом быстро сообразила, что этот застенчивый богатый азербайджанец – ее долгожданный шанс, и было бы просто преступлением им не воспользоваться.

Они голубками упорхнули из заведения и отправились гулять. Теперь Париж не казался Мустафе таким холодным и чужим! А Софа точно знала, в каком направлении вести этого милого простака не только по городу, но и по жизни. Позже Софа признавалась, что тоже увлеклась Мустафой, хотя тут же оговаривалась, что уже и сама не могла бы сказать, какую роль в этом

увлечении сыграло кольцо с крупным бриллиантом чистой воды, купленное для нее Мустафой в первый же вечер в ювелирной лавке на улице Ришелье, где-то в районе Фоли-Бержер.

Софа была потрясена, когда уже на следующий день влюбившийся без памяти Мустафа сделал ей предложение. Она рассчитывала всего лишь слегка потрясти этого скоробогача во время его парижских каникул и никак не ожидала такого поворота событий. Правда, в Баку у Мустафы уже была одна жена, но по законам шариата ему не возбранялось иметь как минимум четырех, при условии, что он в состоянии их обеспечить. Мустафа был в состоянии обеспечить целый гарем. Кроме того, он тоже был черноволосым и черноглазым...

Недолго думая, Софа ответила согласием, и они, славно погуляв напоследок по Парижу, отправились в Баку. Город несколько разочаровал уже отвыкшую от провинциальной жизни Софу. Впрочем, положение второй и горячо любимой жены миллионера компенсировало многие недостатки. Первая жена – тихая, услужливая и некрасивая – была кем-то вроде служанки: она вела дом и не смела даже глаза поднять на Софу. Кроме того, в городе имелся русский драматический театр. Со времен своего актерства Софа любила театр, но теперь, разумеется, была в нем только зрителем. Кроме того, куда еще, кроме театра, она могла надеть свои украшения? Ведь бриллиантовое кольцо из лавки на улице Ришелье стало только началом той коллекции драгоценностей, которыми миллионер одаривал свою драгоценную жену. Софа, смеясь, рассказывала потом, что Мустафа, хоть и причастившийся европейской культуре, в свободное время предпочитал играть в нарды в чайхане, поэтому на спектакли ей приходилось ездить одной. Правда, из-за количества бриллиантов, которые она считала нужным надевать для выхода в свет, рядом с ее экипажем обязательно трусил городской. Так Мустафе было спокойней.

Наконец-то Софа получила то, о чем еще недавно и мечтать не смела. Когда-то она наивно думала, что ее отец – богатый человек. Только теперь она поняла, что такое настоящее богатство. Она решила было написать родне, но передумала. Несмотря на все его миллионы, Мустафа все-таки не был бароном Ротшильтом. Нетрудно было предсказать, как отнесется прадед Вульф к ее скоропалительному союзу с иноверцем, да еще и в качестве второй жены. А потом началась первая мировая война, во время которой Мустафа разбогател еще больше. Поскольку ездить в Европу стало опасно, они путешествовали по Востоку. Однажды Мустафа взял Софу в деловую поездку к бухарскому эмиру. Эмир был вполне просвещенным человеком, но Софе все же пришлось разместиться в гареме вместе с женами эмира. Это было даже занятно, как будто она оказалась в сказке из «Тысячи и одной ночи»: евнухи, кальяны, фонтаны, ковры... В общем, тот самый восточный колорит, вкус к которому ей удалось отбить у самого Мустафы.

Вскоре до Баку добралась революция. Правда, англичане, не желая отдавать России лакомый нефтяной кусок, быстро расстреляли комиссаров, но и сами не удержались у власти. Началась пора безвластия и погромов, на сей раз, армянских. Софа всегда вспоминала это время со смешанным

чувством: впервые в жизни при погроме ее еврейство гарантировало ей относительную безопасность. Хотя дом Мустафы и так прекрасно охранялся боевиками из Муссавата.

Карусель смены власти, уличных митингов, переходящих в бои, и боев, оканчивающихся митингами, настолько опротивела жителям города, что они с воодушевлением встретили вступившую в город Одиннадцатую красную армию. Спустя семьдесят лет эта история повторится почти буквально: в потрясенный количеством пролитой армянской крови Баку конца восьмидесятых войдут войска Советской армии... А тогда ни Мустафа, ни Софа еще не знали, что большевики всерьез решили избавиться от богатых, сделав всех одинаково бедными. Но вскоре после окончательной победы Советской власти Мустафа был приглашен в чека, где ему доходчиво объяснили, что его нефтяные промыслы теперь принадлежат народу, и что в течение двадцати четырех часов он должен сдать все деньги и драгоценности, а иначе... Молодой чекист в неказистой кожанке, председатель комиссии по экспроприации, выразительно похлопал по деревянной кобуре маузера. Мустафу отпустили домой в сопровождении двух солдат, чтобы думалось ему в правильном направлении.

И Мустафа действительно задумался. Он уже понимал, что придется расставаться с деньгами. За все эти годы он так и не привык к богатству, поэтому денег ему было не жалко. Но вот драгоценности... Как он может отнять у Софы ее бриллианты?! Что она о нем подумает?.. Тут у Мустафы мелькнула новая мысль. Этот молодой чекист почти наверняка еврей. Что если Софа пойдет к нему и попробует договориться? В конце концов, они единоверцы. Тем более что все остальное он был готов отдать добровольно...

Несмотря на практический ум и знание своих единоверцев, Софа тоже решила, что сможет договориться с чекистом. Она оделась поскромнее и отправилась прямо в чека, расположившееся в большом доме, недавно отнятом у сбежавшего богача Тагиева. Молоденький чекист действительно оказался евреем. Более того, это был Арон, то самый сын негодяя Шмуклера, за которого прадед Вульф когда-то собирался выдать Софу. Софа обрадовалась. Но разговор с Ароном получился тяжелым. Софа вспомнила, как еще дома он, правда за глаза, обвинял своего отца в религиозном фанатизме. Но сам, по мнению Софы, стал еще большим фанатиком. Только служил он другому богу. Пришлось применить все известные ей способы убеждения - от напоминания о родственниках, от которых Арон давно и решительно отказался, до демонстрации содержимого ее глубокого декольте.

Трудно сказать, что повлияло на решение Арона, но он вдруг смиловился, перестал выкрикивать бессмысленные, с точки зрения Софы, лозунги, которыми и без того был обвешан весь город, и сказал, что, так и быть, обыска в ее доме производить не будут. Тут он многозначительно посмотрел на Софу и вполголоса добавил, что у нее есть три дня. Именно три, потому что его, Арона, переводят в Москву, а его место займет один грузинский товарищ. Он этого товарища немного знает и потому настоятельно советует Софе с мужем... как бы это правильнее выразиться... в общем, уехать из Баку. Хоть на Украину, хоть еще куда. Тем более что муж

Софы, кроме всего прочего, был активным членом буржуазной партии Муссават...

Дома Софа пересказала весь разговор Мустафе. Ехать на Украину к родственникам было далеко и опасно. Куда проще было перейти границу с Ираном, до которой рукой подать. В Иране у Мустафы оставались серьезные знакомства и связи. Кроме того, в Тебризе, столице южного Азербайджана, жили родственники.

Когда они с Мустафой уходили ночью из дома, глаза остававшейся первой жены напомнили Софе глаза прадеда Вульфа. Она поежилась, но отогнала от себя это видение. Тем более что у нее в корсете были зашиты все подаренные мужем бриллианты. Нужно было спасать и их, и мужа. А кто тронет никому не нужную немолодую азербайджанку? Решили, что она назовется прислугой: большевики таких любят. Тем более что это было почти правдой.

Путей в Иран было два – по морю и по суше. Морем добираться было бы куда удобней, но стоял август, пора пассатов, и такое путешествие на небольшой рыбацкой лодочке было просто опасным. Более крупные суда были экспроприированы большевиками. Поэтому решено было отправиться в путь сначала на извозчике за город, на юг, до Биби-Эйбата, а потом... потом уж как-нибудь. Софа взяла с собой только самое необходимое, но когда они добрались до небольшого селения, за которым, по уверениям Мустафы, начиналась территория Ирана, на Софе не осталось ничего, кроме платица, под которым находился заветный корсет, и стоптанных туфель. Мустафа выглядел не лучше. Соломенное канотье, которое он зачем-то надел в дорогу, смешно смотрелось на оборванце, в которого он превратился.

Они были почти уверены, что спаслись, что терпеть осталось недолго. Поскорее бы добраться до какой-нибудь цивилизации, думала Софа, глотая горькую голодную слюну. И вглядывалась в предрассветную тьму.

Трудно сказать, откуда взялся этот красноармейский пограничный разъезд. Возможно, Мустафа ошибся в расчетах, и они все еще находились на территории Азербайджана. А может и сам разъезд заплутал: пограничники были русскими и вряд ли знали, где тут проходит граница. Этого тогда вообще никто толком не знал...

Так или иначе, но эти здоровые вооруженные парни, несомненно, были бандитами. Они окружили Мустафу и Софу, задали несколько вопросов, на которые супруги не смогли дать никаких внятных ответов, и быстро поняли, в чем дело. Напрасно Мустафа на ломаном русском убеждал красноармейцев, что они с Софой – местные крестьяне. Несмотря на лохмотья и измученный вид, на крестьян они походили мало. Старший из красноармейцев, перехваченный крест-накрест ремнями здоровенный бугай, внимательно осмотрел Софу и усмехнулся. Софа отвела взгляд: она понимала, что может означать его усмешка. Не будь рядом Мустафы, она, чтобы сберечь бриллианты, ответила бы бугаю точно такой же. По опыту она знала, что насильники редко долго мучают женщину, особенно если она не сопротивляется как последняя дура. Но Мустафа...

Мустафа тоже прекрасно понял, что означает взгляд русского. Они были одни посреди выжженной степи, откуда-то из-за спин бандитов показался краешек солнца, и их фигуры сразу сделались черными – как то темное дело, которое они собирались совершить ... Мустафа знал, что не сможет защитить жену. Если бы у него был хотя бы пистолет... Но пистолет пришлось продать еще в Ленкорани, чтобы купить еды и оплатить услуги проводника.

– Слышь, – сказал ему главный, чуть склонившись с седла, – эта баба твоя, что ли?

На короткий миг у Мустафы перехватило дыхание. Он почувствовал, что, оказывается, у этого бандита-большевика, привыкшего к ощущению всевластия и безнаказанности, сохранились остатки каких-то моральных принципов. И теперь он не уверен, следует ли насиловать жену на глазах у мужа. Но что помешает ему изнасиловать вдову? Выражение лица большевика и его крупная ладонь, расслабленно, но чутко лежащая на шишаке сабли, подтверждали, что именно так все и случится... прямо сейчас. Ужас неминуемой смерти охватил Мустафу, почти мертвые губы не повиновались ему. Он судорожно вздохнул, бросил взгляд на Софу, которая как будто пыталась что-то ему подсказать... И тут его осенило.

– Какой жена? – Мустафе казалось, что он кричит, но на самом деле большевику пришлось нагнуться еще ниже, чтобы расслышать его слова, – Какой жена? Сестра это мой, понимаешь, да? Теперь не убьешь?

Большевик все понял. Ему понравилось, что он так красиво обошел внезапно возникшую моральную проблему; ведь он знал о большевистской законности и желал ее соблюсти. Если, конечно, это не помешает ему и его ребятам поиграть с бабой. Но еще больше ему понравилось ломать этого черножопого...

– Ну, – сказал большевик откидываясь в седле, – раз не жена, тогда что ж... У нас все бабы теперь общие, правильно, товарищи?

Товарищи расхохотались, испугав коней, и в ту же минуту чьи-то крепкие руки ухватили Софу и стали срывать с нее ветхое платье. Больше всего Софа волновалась за мужа. Она понимала, чего ему стоило такое признание – и одобряла его: ведь другого выхода все равно не было.

История закончилась самым неприятным для Софы образом. Натешившись, эти мерзавцы нашли-таки камушки, тщательно зашитые вдоль пластинок китового уса – и тут же арестовали и Софу, и Мустафу. Понятное дело, суки-буржуи хотели спрятать свое богатство от рабочего класса ... Дальше история понеслась по обычной для того времени колее. Софу, Мустафу и бриллианты, количество которых несколько сократилось, отправили назад, в Баку. Там сменивший Арона грузинский товарищ внимательно выслушал жалобу Мустафы на то, что красноармейцы изнасиловали его жену. Чекист улыбнулся, как будто оскалился, поправил пенсне на потном носу и пододвинул к себе какие-то бумаги.

– Мы жен не насилуем, – проворковал он. – Вот протокол задержания, тут сказано, что она – твоя сестра.

И, мгновенно сменив тон, заорал:

– Что, обосрался от страха, муссаватист вонючий?! Все вы такие! Чтобы спасти свою жизнь, вы и жену, и убеждения продадите, дешевки!

В тот же день Мустафу расстреляли в подвале дома его бывшего партнера, сбежавшего миллионера Тагиева.

А Софа уцелела. Если верить семейным слухам, уцелели и несколько ее камешков... То ли грузинский товарищ нашел ее не опасной для дела революции, то ли, расстреляв мужа, прельстился ее красотой... трудно сказать.

В начале нэпа, уже после смерти прадеда Вульфа, Софа перетащила все свое оставшееся на Украине голодающее семейство в относительно сытый Баку. Умерла она в середине шестидесятых, когда ей было немногим за семьдесят. Рассказывают, что незадолго до смерти она пошла в поликлинику и пожаловалась на какие-то проблемы со щитовидкой. Внимательная молодая докторша покивала головой, пошелестела бумагами и с сожалением объявила, что все очень запущено, и что при ее болезни нужно было лет с сорока пить йод.

– Да что вы, милочка, – ответила Софа, и ее выцветшие старческие глаза на секунду молодо и опасно блеснули, – в сорок лет я пила водку!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЛУТИЯ

Дар предвидения, полученный от Единого, много раз помогал мне уберечь моего господина от мелких неприятностей, но ни разу не сумел я предотвратить большой беды. Потому что господин никогда не слушал моих просьб, хотя и знал о моих способностях. Всегда было мучительно видеть, как он, руководствуясь собственными представлениями о мире, упрямо приближается к самому краю пропасти и не внемлет моим предостережениям. Мне, простому слуге, было почти невыносимо бездействовать; хотя в такие минуты я понимал, что у моего господина особое предназначение, и что там, где любой другой разобьется насмерть, он, волею Единого, останется невредимым.

Вот почему, зная о грядущих бедах, я мог лишь почтительно следовать за господином, чтобы если и не помочь, то хотя бы разделить с ним его судьбу. Теперь, когда многое уже свершилось, когда наивные бородатые спорщики у костра кричат друг на друга и, стараясь умиловить Единого, выдумывают красивые легенды о событиях, которым я был свидетелем, я ухожу сюда, в темноту и тишину пустыни, чтобы удержаться от этого соблазна.

А тогда мы отправились на юг, и я был рад, что не убил и не прогнал Нахора. Этот бездельник нес за Шари ее пожитки и тяжелый бронзовый лист, с которым Шари ни за что не захотела расстаться. Став ее слугой, он часто получал ту порцию гнева, которая иначе могла бы достаться моему господину. А Шари была гневлива и, выражая свое недовольство, могла зайти далеко. В ней просыпалась настоящая служительница Иштар, и не раз Нахору

приходилось убегать от нее далеко в пустыню, спасая свою ничтожную жизнь. К счастью, мне не было нужды опасаться Шари: отчего-то мой скромный пророческий дар казался ей достаточной причиной, чтобы относиться ко мне не как к слуге, пусть даже слуге ее мужа, а как к провидцу. Вот кто внимательно, с жадным любопытством выслушивал мои предсказания! У меня, дерзкого, даже появился искус, несомненно, внушенный мне Другим, попытаться повлиять на господина при помощи его жены. Ибо господин мой, как я уже говорил, редко мог устоять перед ее гневом или ее просьбами.

Мы шли по пустыне, и только Единому было известно, что влечет моего господина на юг. К счастью, нам то и дело встречались пастухи с небольшими отарами овец, поэтому у нас не было недостатка в пище; а стада наши могли бы стать тучными, если бы не вечная жажда, с которой пустыня проглатывала воду, посланную нам Единым. Но чего, по моему мнению, нам не хватало по-настоящему, это понимания, куда и зачем мы идем. Иногда мне начинало казаться, что господин ушел в пустыню потому, что ему нравилась сама дорога. Нравилось это упоительное ощущение, когда тебя уже нет там, откуда ты ушел, и еще нет там, куда ты стремишься попасть. Кто знает, что бы произошло, если бы Шари все-таки удалось зачать. Но, несмотря на то, что господин проводил в ее шатре почти все ночи, Шари оставалась бесплодной, как та пустыня, по которой Единому было угодно вести нас.

Теперь я могу сказать себе и звездам, этим светильникам Единого: не знаю точно, но подозреваю, что в ту пору Шари прибегала ко всем мыслимым способам подарить господину наследника. Слишком часто убегал от нее в пустыню подлый раб Нахор, слишком ласкова бывала Шари со мной, не способным к плотской любви, но знающим прошлое и умеющим видеть будущее...

Но все эти уловки, несомненно, внушенные Другим, не помогали. Она не могла принести господину даже ворованное счастье быть отцом, и это беспокоило его все больше и больше. Однажды он признался мне, что Единый пообещал ему великое будущее: он станет родоначальником большого и богатого народа. Но еще яснее, чем будущее, читал я в глазах господина недоумение и боль; казалось, что передо мной не зрелый муж, а обманутый злыми взрослыми ребенок, которого пустыми посулами заманили на базар и бросили там одного. Я не знал, что сказать, потому что его отношения с Единым превосходили мое понимание, и часто я, дерзкий, силясь разглядеть то, что было от меня закрыто, видел совсем другие вещи, о которых не посмел бы рассказать даже всё знающим звездам. И только много позже, когда ангелы Джуда отказались вмешаться, чтобы остановить непоправимое, я до конца понял, что виделось мне тогда, во время нашего путешествия на юг. И вина моя настолько велика, что до сих пор не понимаю, отчего Единый не отнял мою жизнь...

Однажды ночью, когда погасли костры и все уснули, я поднялся, чтобы опорожниться, и отошел от стоянки подальше. А когда возвращался обратно и переходил небольшую ложбину, в которой, сбившись в кучу, спали наши овцы, неожиданно услышал разговор, который не был предназначен для моих ушей. Я узнал голос господина и хотел было выйти к нему, чтобы показать,

что не собирался подслушивать, но остановился, когда услышал второй голос – подлый голос Нахора. Кое-кто скажет, что я ревновал этого раба к своему господину. Нет, чувство ревности мне незнакомо. Я только опасался, что мой простодушный господин может довериться такому человеку, как Нахор.

– Да, господин, – говорил Нахор, и голос его был льстивым и дрожащим, как у уличного шарлатана, который еще не понял, получит за свою ложь награду или наказание. – Я готов поручиться жизнью, что знаю этого жреца. И хотя сегодня моя ничтожная жизнь не стоит ничего, та награда, которую я попрошу у господина взамен, сделает ее для меня ценнее святой головы, что так оберегается слугителями великого зиккурата в Бабелле...

– А почему ты уверен, что именно этот жрец не потребует человеческих жертвоприношений, которые противны Единому?

Голос у господина бы тусклым, как будто сонным, и я подумал, что еще немного, и господин прогонит от себя этого дерзкого раба. Но он не сделал этого. Теперь я понимаю, что мне тогда следовало выскочить из темноты и ударом меча отсечь проклятому Нахору его плешивую голову. Ибо чего тогда стоил мой жалкий дар?..

– Я ручаюсь моему господину, что в жертву будут принесены только животные и, главное, я ручаюсь в том, что не пройдет и года, как господин станет отцом и основателем великого рода. Жрец, о котором я говорю – великий маг, владеющий знаниями всего Мицрама и Магриба...

– Но чего ты захочешь от меня? Овец или денег?

– О, нет, мой господин! С овцами, как ты знаешь, в пустыне много хлопот, да и деньги здесь совершенно ни к чему. Я прошу у тебя то, что не будет стоить тебе ни денег, ни овец, ни даже хлопот.

Мерзкий Нахор замолчал, и было слышно, как от волнения прерывается его дыхание. До сих пор не знаю, что заставило моего господина слушать этого дрянного раба. Как могло случиться, что Единый в эту ночь отвернул свой взгляд от моего господина и отдал его во власть Другого? Только этим я могу объясняю себе то, что произошло дальше.

Грязный и подлый раб потребовал у господина право на родство. Если на свадьбе господина он пытался выдать себя за его брата, то теперь хотел, чтобы господин признал его хотя бы своим племянником. Я знал, что у господина где-то действительно остался племянник, но представить себе не мог, зачем Нахору нужно было такое сомнительное родство. Трудно предположить, что эта мелкая продажная душонка тоже обладала даром предвидения и стремилась занять лучшее место подле моего господина. Еле сдерживаясь, я вцепился в рукоятку меча, а господин только рассмеялся и сказал, что нет ничего легче, и он даже рад будет заполучить нового родственника, тем более что он, Нахор, даже внешне напоминает его умершего племянника Авилота.

Странная мысль промелькнула у меня в голове. Уж не собирается ли господин, отчаявшись заполучить сына, стать основателем великого рода, поделившись родством с безродным Нахором? Что если ему нужен кто-то, кто смог бы оставить потомство вместо него? Я для этого не подходил, ибо господин знал о моей неспособности к деторождению, а вот... Правда, за

время скитаний к нам примкнуло несколько пастухов, которых мы поленились убивать и сделали своими рабами, но то были существа совсем дикие, вряд ли способные даже понять, чего от них хочет господин.

Да, я знаю, что сказали бы на это люди. И потому рассказываю свою историю только звездам...

На следующее утро на заре мы стали сворачивать шатры, чтобы двигаться дальше, и господин объявил нам две новости. Теперь мы должны были держать путь на восток, к черным землям Мицрама. Вторая новость, как и первая, уже не была новостью для меня. Господин объявил, что наконец-то нашел своего любимого племянника и в его честь на ближайшем привале принесет в жертву Единому двух новорожденных ягнят. Я внимательно следил за Шари, которая в этот момент не выразила никакого удивления, наоборот, улыбалась и выглядела довольной, что в последнее время случалось с ней все реже. Тогда еще более странная мысль обожгла мое сознание. Разве Нахор, бездомный шарлатан, мог знаться с великими жрецами Мицрама? Да и само безумное желание втереться в родство к господину ему могло бы внушено... Еще до женитьбы господина до меня доходили слухи о том, что торговавший с Мицрамом Лахадж как-то раз уступил просьбам дочери и отпустил ее туда вместе с караваном и большой охраной.

Мы отправились в Мицрам, и печальная, почти бесплодная пустыня, где наши стада с трудом могли найти себе пропитание, сменилась пестрыми, как женский куннет, рощами и полянами земли Кенана и Вирсавии. Я продолжал исполнять свои обязанности слуги и охранника господина, стараясь не вмешиваться в дела, меня не касающиеся. Все лучше относилась ко мне Шари, все веселее становилась она по мере нашего продвижения вперед. Я радовался за господина, потому что никогда еще с момента женитьбы не видел его таким довольным и спокойным. Надежда, вселенная в него Нахором-Авилотом, и ставшая вдруг покладистой и незлобивой Шари делали из моего господина человека, который, и это я знал точно, способен выполнить великое предназначение... Все бы хорошо, если бы не окончательно распоясавшийся Авилот. Кроме панибратства с господином он был замечен в каких-то темных делишках с пастухами, которым внушал простые, но противные Единому мысли.

Мы двигались все дальше и дальше, и временами меня охватывало чувство, похожее на страх. Я знал, что мне скоро предстоит пройти серьезное испытание, но не был уверен, что у меня хватит сил выйти из него достойно, как и подобает слуге такого господина. А мы по-прежнему шли вперед, и вот уже не осталось и следа от рощ Кенана. Мы брели по похожей на море бесконечной чередой барханов, при свете солнца сверкавших так, что на них невозможно было смотреть, а ночью излучавших неведомо откуда взявшийся холод. В нашем стаде почти не осталось овец, а тех, что остались, нам пришлось бросить на произвол судьбы и продолжать свой путь, полагаясь на милость Единого.

Я заметил, что господин опять приуныл, хотя изо всех сил старался показать нам, что уверен в себе, и что ведет его Единый, являвшийся ему то во сне, то наяву. Не смею рассуждать о Едином, но, как уже говорил, отношения с

Ним моего господина всегда оставались для меня загадкой. Мне и сейчас кажется, что полученные тогда господином великие обещания легли на его душу тяжким грузом. Потому что это был груз надежды, но не веры. Господин сам говорил мне об этом в те редкие минуты, когда нам удавалось остаться вдвоем. С тех пор как Нахор назвался Авилотом, он перестал быть прислужником Шари и старался всегда находиться рядом с господином. Но когда мы по узкой полоске земли наконец-то перебрались на земли Мицрама и своими глазами увидели голубую реку Нахаль, окруженную черной плодородной землей, Авилот бесследно исчез, очевидно, отправился на поиски того самого жреца, рассказом об искусстве которого купил себе родство с господином.

В те дни, которые мы провели на берегу Нахаль, Шари опять стала очень беспокойной. Она была несчастных неуклюжих пастухов, пытавшихся услужить ей, и кричала на господина. Несколько раз в течение этих дней господин уходил побродить в одиночестве вдоль берега, заросшего папирусом и тростником. Даже я, его верный слуга, не решался сопровождать его, хотя не переставал тревожиться за его жизнь. Только звездам я могу теперь признаться: безусловно приняв Единого, я все же сомневался, что, повелев господину идти и ничего не бояться, Единый помнил о своем обещании. Сегодня бородатые дармоеды там, у костров, доказывают друг другу, что мудрость Единого как раз и проявляется в том, чтобы дать человеку возможность по-своему толковать Его веления. Может быть и так. Я не мудрец, чтобы вступать в бессмысленные споры...

Нахор-Авилот появился на восходе солнца, когда господин проснулся и подошел к воде, чтобы напиться. Шари еще спала, а пастухи только-только развели костер, чтобы поджарить кусок вяленого мяса. Я поразился тому, насколько изменился Авилот. И дело не в том, что этот мошенник успел где-то раздобыть новую сомлу. Всегда несколько приниженный и, одновременно, наглый, он вдруг стал как будто другим человеком: вместо недавнего раба к господину подошел равный ему, и не по поддельному родству, а по праву. Картину портил только пот, обильно струившийся у него по щекам и шее, да еще глаза – беспокойные и непривычно тоскливые.

Авилот принес добрую весть: великий жрец готов принять господина с женой, но отправляться к нему нужно немедленно. Это недалеко, чуть выше по течению реки. Нетерпение, охватившее господина, казалось, передалось даже глупым пастухам, которые быстро затоптали костер и свернули шатры. Но Шари была необычно задумчива. Она потребовала, чтобы пастухи соорудили носилки и несли ее на руках, как это принято у жителей Мицрама.

Мне доводилось посещать храмы Бабеллы, которые славились своим величием во всем Междуречье. Но храм, к которому привел нас Авилот, не походил ни на один из них. Величина его превосходила все, что я мог бы себе представить. Огромные, в три человеческих роста, фигуры богов подавляли волю входящего. Я заметил, что господин тоже подпал под влияние этих вырезанных из неведомого камня фигур. От них исходила какая-то скрытая угроза; рядом с ними даже всевластие Единого казалось уже не таким очевидным. Наши несчастные пастухи, не знавшие никаких богов, испугались

настолько, что отказались подойти к храму ближе, чем на сотню шагов. С недовольным видом Шари вылезла из носилок и испуганно разглядывала страшные фигуры. Ей, посвященной в тайны служения Иштар, было лучше других известна опасная магия здешних мест.

К счастью, нам не было нужды заходить в сам храм. Авилот с видом человека, которому здесь было оказано покровительство, повел нас вокруг, к задней части храма. Подошел к крохотной калитке в стене и, чуть помедлив, постучал по камню бронзовым молотком, изображавшим раскрывшего пасть Себеса. За стеной раздался гул, калитка приоткрылась, и мы вошли в маленький выложенный диковинными разноцветными плитками дворик. С трех сторон его окружали каменные стены, а с четвертой находился вход в храм, к которому вели несколько ступеней из черного камня. На ступенях, лениво щуря на нас огромные глаза, сидел маленький зверек с короткой черно-белой шерстью, в котором я только мгновение спустя узнал обыкновенную кошку. Слишком уж все здесь было необычным, грозившим опасностью и даже смертью. Кошка пристально разглядывала нас и, кажется, была недовольна нашим появлением, которое нарушило ее покой.

Она надменно изогнулась и, как только двери храма приоткрылись, скользнула внутрь, в прохладную темноту. Вместо нее к нам вышел высокий бритый наголо человек с глубоким шрамом, пересекавшим его лоб и щеку. Ни слова не говоря, он уставился своими пронзительными черными глазами на господина, который вдруг заволновался и тревожно взглянул на меня. Я понял его взгляд. Моему принявшему Единого господину было не по себе из-за необходимости обращаться к жрецам. Я сочувственно покачал головой и посмотрел на Шари. Она была бледна и, несмотря на безжалостное полуденное солнце, ее пробирала дрожь. Это было мне понятно. Ведь сейчас решалась ее судьба. Я настолько погрузился в наблюдение за ними двумя, что пропустил момент, когда жрец, наконец, заговорил.

– Есть ли у тебя деньги, путник? – обратился он господину на местном наречии. – Вы прибыли из тех мест, где в ходу серебряные шекели.

Я выступил вперед, ибо торговаться было несовместно с достоинством моего господина, тем более, торговаться со жрецом, пусть даже могущественным и опасным. Я ответил жрецу на его же наречии, что в больших и знаменитых храмах Бабеллы, откуда мы пришли, жрецы сначала узнают, что привело к ним человека, а уж потом назначают цену. Кроме того, мой господин – великий человек, и если жрец хоть что-нибудь смыслит в людях, он и сам должен был это понять... Я увидел, что жрец недоволен моей речью и пустился на ухищрения. Просить у такого человека плату негоже даже великим жрецам, сказал я, хотя мой господин очень богат и мог бы...

– Знаю, – перебил меня жрец. – Знаю все, что ты, бесполой, хочешь мне сказать. Я заговорил о деньгах совсем не потому, что собирался просить их у него. Даже если бы я хотел воспользоваться тем положением, в котором находится твой господин, то не смог бы этого сделать. Потому что я никогда не беру платы за то, чего не могу обещать.

– Как! – не в силах сдержаться, воскликнул я и мысленно порадовался, что ни господин, ни Шари не владеют языком страны Мицрам. – Великий

жрец, про которого жалкий раб Нахор сказал нам, что он единственный способен помочь моему господину... Ты знал заранее, с какой просьбой мы придем к тебе – и заставил господина тратить время на поклонение твоим жалким идолам? Нахор, назвавшийся Авилотом, змея, залезшая за пазуху к моему господину, ты ответишь мне за это унижение кровью!

Под моим взглядом Авилот вновь превратился в Нахора, того самого, который пытался ограбить нас с господином, – в жалкого трусливого раба.

– Оставь в покое этого человека, – сказал жрец, не повышая голоса, но я почувствовал, как невидимый аркан затянулся у меня на горле, лишая возможности говорить. – Он ни в чем не виноват. Я хотел сказать только, что мои боги, которых ты назвал жалкими, могут помочь женщине понести, и поэтому позвал вас сюда. Но... твоему господину не очень понравится способ, с помощью которого я могу помочь ему.

Жрец громко хлопнул в ладоши, и словно из-под земли появились воины в кожаных шлемах со странными изогнутыми мечами в руках. Их было много, никак не меньше десятка. Наши пастухи, даже если бы не были так напуганы и могли помочь мне, остались далеко за стеной. Я взглянул на внезапно побледневшего господина, потом на Шари, и понял, что мой пророческий дар оказался тут бесполезным: нас заманили в ловушку, и виноват в этом грязный Нахор. Что ж, я готов был выполнить свой долг и умереть, защищая господина, но сначала следовало перерезать горло этому подлому существу...

Нелегко мне сейчас говорить об этом; холод пустыни, смешиваясь с холодом моей медленно текущей крови, сковывает мне язык и мутит рассудок, призывая вернуться назад к костру и, заняв место среди спорящих, придумать красивую сказку, в которой все мы были героями; в которой мой господин сделал свой первый шаг на пути к величию, заслуженно обретенному позднее. Ангелы Джуда объясняли мне потом, что тогда произошло на самом деле, но странен и текуч был их язык, и трудно было мне, простому слуге, поверить, что глаза и память обманывали меня долгие годы. Даже им, ангелам, отчего-то нужно было, чтобы мой господин перестал быть человеком, а стал просто исполнителем воли Единого. Но ведь тогда он не мог бы стать великим! Разве может считаться храбрым ночной мотылек, по воле ветра бездумно залетевший в костер? Но спорить с ангелами Джуда я, дерзкий, не мог и не хотел...

Мне не дали убить Нахора. Воины накиннулись на меня, и хотя двое из них, обливаясь кровью, тут же упали на плитки двора, все же у меня отняли меч, связали и бросили под ноги жрецу. Мой господин даже не посмотрел в мою сторону, зато Шари подмигнула мне и выступила вперед. Тут выяснилось, что Шари тоже понимает местный язык.

– Не убивайте его, – сказала она жрецу. – Это предсказатель и верный слуга моего брата. У него только один недостаток – он не может осчастливить женщину. Впрочем, то же можно сказать о многих мужчинах, не обладающих ни его даром, ни его преданностью.

Она говорила что-то еще, но я, пораженный, уже не мог слушать. Лучше бы меня сразу убили! Шари выдает моего господина за своего брата?! Но тут

же я порадовался и поблагодарил Единого за то, что господин не понимает сказанного ею. А подлый Нахор улыбался и кивал Шари своей грязной головой, до которой я так и не смог добраться. Тут жрец снова вышел вперед, и я, догадываясь, что для меня уже все кончено, озаботился судьбой господина.

Жрец заговорил, а я не мог поверить тому, что слышу. Великий правитель Мицрама, он же верховный жрец, равный богам и сам бог, мог бы забрать Шари у господина, даже не спрашивая его разрешения. Но боги должны подчиняться верховной справедливости, иначе они перестанут быть богами. Пусть сам господин подтвердит, что Шари его сестра, а не жена. В обмен он получит те самые шекели, а еще все, что ему захочется получить из оружия и скота: ведь боги Мицрама не только могущественны, но и богаты. С того места, куда меня бросили, мне не было видно лица господина, но зато хорошо была видна Шари. И я вдруг все понял. Ведь Шари уже бывала в Мицраме и могла свести знакомство с этим самым верховным жрецом... Я слышал, что в Мицраме нет сословных преград, и что местные правители, в отличие от бабелльских, просты в общении и не делят людей на знатных и незнатных. Да не сговорились ли они?! Ведь не случайно господину – конечно же, в угоду ее ревности! – было предложено взамен все, кроме местных женщин, известных своей утонченностью в любви. И еще раз поблагодарил я Единого за то, что господин не знает языка Мицрама.

И снова господину удалось меня обмануть. Потому что ответил он, хоть и неуверенно, на том же наречии, на котором говорил с ним жрец. Он сказал, что Шари действительно его сестра, и он благодарен верховному жрецу и правителю Мицрама за оказанную ему великую милость, за честь взять у него сестру. А еще благодарен за проявленную правителем щедрость, которой он не преминет воспользоваться. Я услышал хихиканье Нахора и понял, что он тоже принимал участие в этом мерзком деле. В ту минуту я дал себе клятву, что если меня не убьют сейчас, то я обязательно перережу его мерзкое горло. Забегая вперед, хочу сказать, что мне никогда не пришлось сдержать свою клятву. Даже когда Единый, наконец, понял всю ничтожность этого человека и захотел покарать вместе с гнусными его последователями, мне, верному воле своего господина, пришлось спасти его вместе с двумя девушками, которых он, выдавая за своих дочерей, прихватил с собой...

Шари тут же увели куда-то в глубину храма, исчез и жрец вместе с охраной. Мы остались одни. Тут господин вспомнил о своем верном слуге. Он достал нож и собственноручно перерезал веревки, которыми были стянуты за спиной запястья. Но прежде он, хорошо меня зная, потребовал, чтобы я ни коем случае не трогал Нахора, то есть его любимого племянника Авилота.

– Потом, – сказал мне господин тем мягким тоном, каким он обычно говорил с Шари, когда той приходило в голову капризничать, – потом, Лутия, я тебе все объясню. А сейчас нам нужно идти: не следует подвергать испытанию великодушие этих идолопоклонников.

Я послушный слуга, не смеющий прекословить моему господину. Ибо своевольный слуга перестает быть слугой, как и своевольная жена теряет право называться женой. Мы забрали наших пастухов, терпеливо ожидавших

нас на берегу и не выразивших никакого удивления от того, что с нами не было Шари. Кажется, они даже вздохнули с облегчением, узнав, что им не придется нести ее на носилках. Потом мы пошли искать место для стоянки. Да, я послушный слуга, но когда поглядывал на Авилота, тот вздрагивал и от ужаса закатывал глаза, понимая, на каком тоненьком волоске моего послушания висит его ничтожная жизнь...

Мысль моя обрывается и скачет, перепрыгивая от одного события к другому, смешивая и путая их, отчего многое звучит еще более невероятно, чем было на самом деле. Но звездам и без того известны начало и конец всего сущего, а мне важно понять, как мы подошли к тому великому и страшному, к чему вольно или невольно стремились всю жизнь. И если господин мой, ведомый Единым, не мог поступать иначе, то я, дерзкий, был предоставлен самому себе и мог надеяться только на свой дар. Даже ангелы Джуды не объяснили мне, отчего в Мицраме я не мог противиться воле своего господина, но зато потом, много позже, встав между отцом и сыновьями, стал исполнителем воли куда более могущественной, чем воля моего господина. Иногда я спрашиваю себя: а не было ли это волей Другого? И тут же пугаюсь этой мысли, и торопливо отгоняю ее от себя, как слепня от вялящегося на солнце куска мяса...

Но тогда, в Мицраме, мы были еще молоды, и я в первый и последний раз в жизни позволил себе дерзко говорить с господином. Но это случилось лишь тогда, когда мы выбрали место для стоянки, а трусливый Авилот шептался с пастухами где-то вдали от шатра.

– Как, – закричал я тогда, – как господин мой мог допустить такое, зачем он не дал мне умереть, чтобы я не видел, как жену его уводит хитрый жрец? И почему господин мой согласился принять взамен награду, словно базарный торговец, отдающий внаем дешевых рабынь?

Много обидного и злого говорил я своему господину и думал о том, что сейчас милостивый господин мой позовет Авилота, и тот с удовольствием прирежет меня, дерзкого, как овцу, ибо другого наказания я не заслуживал. Но господин только покачивал головой. Когда силы мои иссякли, и я замолчал, он пытливо посмотрел мне в глаза и заговорил. Тут я впервые по-настоящему осознал, что мой скромный дар не обманул меня, и что передо мной подлинно великий человек. Господин сказал, что позволил увести жену, потому что испугался: сейчас и его, и всех нас убьют, и воля Единого не будет исполнена. А согласился принять награду, потому что... Тут господин улыбнулся странной улыбкой, печальной и мудрой, от которой гаснул гнев и утихала печаль. И я вдруг увидел бесконечные отражения этой улыбки, уходящие далеко, на многие и многие поколения вперед. И снова улыбнулся господин, и сказал, что уж если Единый посылает нам тяжкое испытание, то вряд ли стоит отказываться от посланного им же вознаграждения. А Шари еще вернется, он в этом совершенно уверен. И еще принесет ему ребенка, с которого и начнется великий народ...

Да, это было великим испытанием для моего господина, но для меня оно стало еще большим, потому что только тогда я осознал всю тяжесть ответственности, ложившейся на мои плечи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕ

Моя неизменная пунктуальность привела меня на следующее утро к дому, в котором находился офис Риты, минут на сорок до начала рабочего дня. Я давно уже не боролся с собой, понимая, что мне не справиться с тем нервным состоянием, в которое прихожу каждый раз, когда нужно явиться куда-либо к определенному времени. Именно поэтому я всегда появляюсь на работе раньше всех, вызывая у менее пунктуальных коллег вполне понятное раздражение. Даже в тюрьму, куда уходил на выходные, я умудрялся приезжать часа на полтора раньше, чем следовало. Хотя многие мои друзья по несчастью опаздывали: по пятницам вместо положенных шести вечера приезжали часам к восьми, и ничего им за это не было. Но я испытывал мучительное беспокойство с самого утра. Наверное, что-то подобное переживали многие ожидавшие ареста советские граждане в тридцать седьмом году. Говорят, когда у НКВД доходили до них руки, арестованные испытывали странное облегчение: все уже случилось, дальнейшее более или менее понятно, страх ожидания и неизвестность уступали место определенности.

Не хочу сравнивать себя с теми, кто отсидел в советских лагерях страшные сроки, по сравнению с которыми отпущенное мне наказание выглядит до смешного несерьезным. Но тюрьма-то была самой настоящей, и ощущения, пронзительные ощущения перехода от состояния вольного человека к состоянию бесправного заключенного, повторяющегося каждую пятницу, как будто вычищали душу, освобождая место для новых мыслей и чувств. Мне пришлось проделать этот путь еженедельно двадцать шесть раз, и он не стал для меня обыденным. На собственной машине я доезжал до специальной стоянки, за которой виднелся высоко выгнувший спину мост, ведущий на Райкерс-Айленд. Оставлял машину и ждал городского автобуса – единственного, кроме воронок и карет скорой помощи, вида транспорта, который пропускали на мост. Приезжал автобус, и я как будто взлетал на нем по мосту к небу, чтобы оставить там, как в шкафчике школьной раздевалки, свое привычное состояние, привычные ценности, привычные запахи, а потом спуститься вниз... Кстати, о запахах. Никогда в лучших кофейнях Испании или Франции кофе не пах так восхитительно и маняще, как тот бурый дешевый растворимый порошок, пронесенный контрабандой и тайком заваренный ранним утром в тюремной камере...

В мой *самый первый раз*, уже под утро, вместе со мной в маленькой вонючей каморке-распределителе ожидали расселения по камерам двое молодых черных пареньков, тоже впервые попавших в тюрьму. Они претворялись бывалыми зэками, нещадно бахвалились друг перед другом, все время окликали охранников, спрашивая, когда уже их переведут «на хату», и

рассказывали фантастические истории о своей удали. В тюрьме вообще любят хвастаться своими подвигами на воле. Обычно это наивное детское вранье, но столь же наивные сокамерники с удовольствием слушают эти истории, не подвергая их сомнению.

К утру нас с пареньками повели заселяться «на хату». Гулкие ночные коридоры, чужие запахи и, главное, полная неизвестность впереди... Я видел, как постепенно гасли лица этих мальчишек, как страх, словно губка, стирал с них все напускное, уличное и жестокое, оставляя лишь тоску и животный ужас. Когда одного из них – того, которому не исполнилось еще двадцати одного года, – надзирательница передала где-то на развилке коридоров другой надзирательнице, и он понял, что его отделяют от нас, ставших ему почти родными за пару часов, проведенных вместе, он потерял последние капли самообладания. И пока его уводили в камеру к таким же, как он, несовершеннолетним бандитам, все время оглядывался, чтобы посмотреть на нас. Странное ощущение вдруг охватило меня, как будто я – вовсе не я, и все это происходит не со мной...

Когда-то давным-давно, в тысяча девятьсот пятом году, мой дядька Семен, один из старших братьев отца, профессиональный революционер, умер от чахотки в московской пересыльной тюрьме. Я видел только его фотографию, чудом уцелевшую среди войн и революций. На ней он снят в такой же полосатой тюремной робе, как на мне теперь. Может быть, это он передал мне мистическую весточку – идти и не бояться? Условие, необходимое для выживания, но не гарантия безопасности...

Погуляв вокруг дома и выждав полчаса, я отправился в офис. Вчера Рита передала мне ключ и при этом ввернула, что доверяет мне полностью, тем более что и адрес мой, и остальные данные у нее уже имеются. Открыв дверь, я не застал никого из работников на месте. На столе лежала желтая наклейка – записка, адресованная мне:

«Дорогой Паша, не хотим вам мешать в первый рабочий день. Располагайтесь комфортно, но помните, что мы ждем от вас результатов по порученному вам делу не позднее завтрашнего утра. Удачи, Рита, Феликс».

Да, подумал я, похоже, расслабиться и постепенно освоиться на новом месте, как это принято в американских компаниях, мне здесь не дадут. Но вовремя вспомнил размер обещанной зарплаты, сел за стол и включил компьютер. Итак, клиент Ури Шумкин. «Проверка на вшивость», то есть ПВ. Семь смертных грехов. Средства для проверки не ограничены... Интересно все же, в самом деле не ограничены? А если я включу в сценарий авианосец или, скажем, потребую несколько тысяч человек для массовой? Нет, глупость, конечно! Нужно придумать что-нибудь эффектное, чтобы произвести впечатление на Риту. Ведь я, черт возьми, умею придумывать! И уже много лет профессионально этим занимаюсь.

Напишу-ка я что-нибудь изящное и недорогое, простое в исполнении и эффективное. Рита будет в восторге, мои позиции тут же укрепятся, а авторитет станет незыблемым. Может быть, тогда, наконец, отступит это давящее ощущение тупика... Я представил себе, как чуть позже, уже освоившись, начну писать сценарии, из которых когда-нибудь получится

новый роман. Роман о семи смертных грехах. Интересно будет проследить, каковы окажутся последствия проверок, проведенных по моим сценариям.

Оставалось только эти сценарии сочинить. Но гениальные идеи пока в голову не приходили. Зато появился соблазн проникнуть в Ритин кабинет и найти какой-нибудь написанный и уже сыгранный сценарий, чтобы иметь хотя бы представление о том, в каком направлении следует думать. Но делать этого я не стал. Во-первых, вообще не люблю рыться в чужих бумагах, а, во-вторых, в офисе вполне могут стоять скрытые камеры наблюдения. Подумав об этом, я непроизвольно принял позу человека, сосредоточенно размышляющего над важной задачей, и уставился в лежащее передо мной дело Шумкина.

Интересно, кому потребовалось его проверять? Тем более что, на мой взгляд, главный его недостаток не входил в список смертных грехов. Шумкин был безнадежно глуп. Может быть, воспользоваться этим? По словам Риты, из семи смертных грехов вытекают все остальные человеческие слабости, грешки и увлечения... В голову по-прежнему ничего не лезло. Я решил положиться на свое везение и, открыв вордовский файл, напечатал: «Ури Шумкин, сценарий на ПВ». Посмотрел на часы и понял, что прошло уже больше двух часов, а я еще не сдвинулся с места.

Только не паниковать, приказал я себе, только не терять лицо, я же профи... Итак, что я знаю о ПВ? Почти ничего. По словам Риты, вчерашний пожар был делом рук самого Коца, пытавшегося замести следы своих мутных делишек. Видимо, Феликс немного перестарался, когда в кабинете Коца она соединилась с ним в скайпе со своего планшета. Хотя иногда, как философски заметила Рита, бывает и хуже...

По крайней мере, это было хоть какое-то объяснение мистическому басу. Но кто заказал Коца? Неужели Рита работает с «компетентными органами»? Почему-то плохо в это верилось. Хотя все, что я знал об этих самых компетентных органах, было почерпнуто из фильмов про шпионов.

Снова посмотрел на часы. Было уже начало третьего. Кажется, я ничего не смогу показать Рите ни завтра с утра, ни когда-либо вообще. Не мое это дело, писать *такие* сценарии. Обидно... Неужели я окончательно исписался? Я уже готов был звонить Рите, чтобы сознаться в своей несостоятельности, когда входная дверь открылась, и в офис проникло странное существо. Больше всего оно было похоже на сильно растолстевшего человека-паука. Молниеносным движением существо освободилось от облегающего комбинезона и оказалось просто толстяком в шортах и майке, из-под которой пробивалась густая растительность.

– Гена я, – сказал толстяк, протягивая мне влажную ладонь. – А ты, как я понимаю, Паша, писатель. Ну, будем! – добавил он с интонацией человека, готовящегося опрокинуть рюмку водки.

Я пожал ему руку и снова сел к компьютеру. Черт, только этого Гены не хватало! Хотя терять мне уже нечего, все равно завтра придется признаваться Рите в своей профнепригодности. Я обернулся к толстяку и развел руками.

– Слушай, старик, я тут немного потерялся, – произнес я самым непринужденным тоном. – Ну ничего не лезет в голову! Может, подскажешь,

как оно обычно бывает, хотя бы приблизительно? Ну, в смысле, что за сценарии у вас тут разыгрываются...

Гена с довольным видом рассмеялся, потер руки и начал рассказывать. По его словам сценарии ПВ сначала писала сама Рита, но потом призналась, что они у нее получаются какими-то однообразными, с уклоном в мистику или секс, а требуется более широкий подход. Потому что и мистика, и секс как ресурс для проверок себя уже исчерпали. То есть, конечно, не совсем, но... В общем, срочно потребовался новый незамутненный взгляд, следовательно, и свежий сценарист. Поэтому всем им запрещено рассказывать мне об уже принятых и отыгранных сценариях.

– Но... – Гена помедлил и, воровато оглянувшись на Ритин кабинет, из чего я сделал вывод, что камеры слежения действительно существуют, тихо добавил. – Но если очень нужно, я могу помочь. Только, понимаешь, если ты напишешь что-нибудь похожее на сделанное раньше, то Рита... Тут вот какое дело. Никто, даже Феликс, толком не знает, где Рита берет заказчиков, и на что именно мы проверяем клиента. Ну, в смысле, понятно, что это ПВ, но кому и зачем это нужно, известно одной только Рите. Ну, а Рита...

Толстый Гена замялся, потом не очень естественно закашлялся, приложив ладонь ко рту и многозначительно округлив глаза, и только проделав все эти манипуляции, шепнул, что ему, например, непонятно, кто такая сама Рита и откуда у нее эта контора, тем более, что средства им отпускаются какие-то немыслимые, прямо миллионы... Но проверяют они не каких-нибудь воротил или политиков, а все больше так, мелочевку вроде дантистов да мелких владельцев недвижимости.

– Правда, – Гена отнял руку от губ и развязно подмигнул, – говорят, все это были лишь тренировки. С твоим приходом у нас начнется совсем другая работа... Из-за этого твоего романа на тебя сделана большая ставка, имей в виду! А что касается отыгранных сценариев, да вот хоть вчера...

В этот момент щелкнул замок входной двери, и в проеме появилась Рита. Я невольно вздрогнул, а подлый Гена вдруг заорал: «Нет-нет, даже не проси, Паша! Никаких подсказок! Сам разбирайся!»

Рита помедлила в дверях, словно оценивая обстановку, и решительно направилась ко мне. Жестом указала Гене на свой кабинет, и тот, не произнеся ни слова, скрылся в нем, закрыв за собой дверь. Рита смотрела на меня, как будто мысленно что-то взвешивая, а потом неожиданно громко воскликнула:

– Гена, не соблаговолите ли принести мое кресло?»

В ту же секунду из кабинета выскочил Гена и, как ни в чем не бывало, подкатил к Рите кресло с высокой спинкой. Потоптался немного на месте, за спиной Риты показал мне сложенные колечком пальцы и опять скрылся в кабинете. Рита уселась напротив, опустила руки на колени и вздохнула.

– Ну что, Пашенька, придется с вами поработать, голубчик. Провести, так сказать, курс молодого бойца... Вы отслужили в армии, должны помнить, что это такое. Так вот, не скажу, что вы меня разочаровали, но похоже, – тут она бросила красноречивый взгляд на монитор, – вы пока не собрались с мыслями. Что ж, давайте просто порассуждаем.

Рита подняла глаза к потолку и задумалась. Видно было, что ситуация доставляет ей удовольствие. Я же думал о другом. Если верить предателю Гене, мне предложили работу именно из-за моего романа, и это было для меня важнее всего. Неужели Рита прочитала роман, и он ей понравился настолько, что один мой день теперь оплачивается лучше, чем неделя работы на Коца? Секундочку, но ведь этот роман – тоже в каком-то смысле проверка на вшивость...

– Надеюсь, вам понятно, – наставительно произнесла Рита, – что производить комплексную проверку на все семь смертных грехов слишком хлопотно. Но если поместить человека в ситуацию, когда с него слетает, так сказать, маска цивилизованной личности, то вполне можно судить о его слабостях. Полагаю, – Рита поджала губки, – что спорить с этим утверждением, вы, голубчик, не будете?

Я кивнул, хотя плохо понимал, к чему она ведет.

– Так вот, сегодняшний цивилизованный человек – это человек, свято верящий в привитый ему семьей и школой набор социальных мифов. Причем большая часть этих мифов воспринимается на подсознательном уровне. Это что-то вроде умения держаться вертикально: вы его не осознаете, но стоит его потерять, как все для вас в буквальном смысле полетит кувырком. Иными словами, достаточно просто поставить человека в глупое положение, заставить его растеряться или испугаться, как вся его цивилизованность – или, если хотите, воспитание, – мгновенно испарится.

Рита хитро подмигнула мне, глаза ее снова заблестели и стали совсем молодыми.

– Позвольте задать вам несколько интимный вопрос?

Я озадачено кивнул.

– Видели ли вы себя когда-нибудь во сне стоящим голышом посреди улицы? Да что я спрашиваю, конечно же, видели! Разбираться с человеческим подсознанием мы сейчас не будем, но вот представьте себе, что такой конфуз каким-то образом случился с вами не во сне, а на самом деле. Вышли вы из дома одетым, а потом где-нибудь, скажем, на Пятой авеню в Манхэттене, вдруг обнаружили, что костюм ваш, равно как и белье, исчез... Как вы поступите в таком случае?

Я видел, что она действительно ждет ответа, поэтому промычал что-то невнятное и пожал плечами. А черт его знает, как бы я поступил. Рита снова угадала мои мысли.

– Конечно, это трудно себе вообразить, – сказала она проникновенно, – но, видите ли, Паша, я знавала людей, которые признавались, что в этом случае умерли бы от стыда. Умерли в буквальном смысле слова. И я им верю. Но были и другие, которые говорили, что просто ограбили бы первого же попавшегося прохожего и надели на себя его одежду... И этим я тоже верю. Ладно, давайте ближе к делу. Берем, к примеру, нашего клиента Шумкина. Вы знаете, что он теперь не только журналист, но и общественный деятель. Так вот, представьте себе ситуацию: Шумкин приходит в горсовет, где кто-то меняет местами таблички на мужском и женском туалетах. Причем делает это непосредственно перед тем, как сей государственный муж решает

отправиться туда по понятной нужде. Что происходит дальше? Наверное, ничего особенного... ну, небольшое недоразумение, заработался человек, о судьбе города и страны задумался, бывает. А что если в этот момент в туалете окажется молодая красивая особа, скажем, не совсем одетая, но готовая поднять крик и обвинить Шумкина в сексуальных домогательствах? Тем более что шутник, поменявший местами таблички, уже вернул их на место, и Шумкину придется доказывать, что именно рассеянность и озабоченность судьбами избирателей привели его в женский туалет. Доказывать такие вещи, как вы знаете, дело трудное и, с точки зрения светлого будущего нашего доморощенного политика, почти безнадежное. Даже если ему поверят, что он случайно перепутал две буквы «М» и «Ж», как же такому рассеянному человеку доверить общественную работу? И вот Шумкин...

Рита плотоядно улыбнулась, как будто оскалилась, и я сразу подумал о том, каково было бедному Коцу оказаться с ней в кабинете один на один.

– И вот Шумкин, хотя я догадываюсь, что вы считаете его круглым дураком, мгновенно все понимает. Он еще не знает, что это – провокация, но пугается и входит в состояние, которое у боксеров называется «гrogги». То самое состояние, в котором и проявляются его подлинные человеческие качества. Дальше возможны различные варианты развития событий. Времени у Шумкина почти нет, того и гляди, кто-нибудь застанет его в женском туалете наедине с полуголой дамой. Он ведь не знает, что тот же самый шутник повесил на дверь табличку «санитарная обработка». Это понятно?

Тут я впервые решился задать вопрос, хоть и невнятный, но по сути:

– Простите, Рита, но где же тут семь смертных грехов?

– А-а, – с несоответствующей ее возрасту скоростью Рита вскочила с кресла. Сейчас она напоминала футбольного болельщика перед решающим штрафным ударом. – В том-то и дело, дорогой мой Паша! Это вы тут, спокойно сидя в кресле, не понимаете. А Шумкин, лишенный времени на раздумья и испуганный... Он может сгоряча решить, что такая оплошность для личности его масштаба не страшна – и вот вам гордыня. Может быть, у него потекут слюнки, потому что полуголая дама в высшей степени хороша собой и дело свое знает. Значит, имеем похоть. Далее, он может решить откупиться. Или, наоборот, сдуру рассердившись, наорет на бедняжку. Вот вам и алчность с гневом. Ну и, конечно, существует вероятность, что потеряет наш Шумкин лицо, рассоплится и будет просить дамочку о пощаде. А это уже уныние...

В уме я пересчитал грехи и недосчитался двух – чревоугодия и зависти.

– Да, – сказала Рита, и я уже перестал удивляться ее способности читать мои мысли, – мы упускаем целых два греха. Но если вдуматься, то обжорство и зависть прямо вытекают из алчности. Достаточно посмотреть, как человек питается, какие рестораны посещает. А уж зависть... Смешно даже тратить время на такую проверку. Вот вы себя завистливым не считаете, не правда ли? Но если тщательно и, главное, честно проанализируете свое прошлое, то обязательно обнаружите, что и вам не чуждо это чувство. Появились ли вопросы, голубчик?

Я не знал, как поступить. Критика – далеко не лучший способ общения с начальством, в особенности, если оно само и является объектом критики. С

другой стороны, в представленном Ритой сценарии я обнаружил множество недостатков и натяжек. Я замялся, опасаясь, что и теперь Рита отгадает, о чем я думаю.

– Э-э, дружок... – с неуловимой интонацией протянула Рита. – Если бы вы сочинили для меня нечто подобное, честно признаюсь, я бы разочаровалась в вас как в писателе. Знаете, почему? Да потому что это *мое* решение, *мой* сценарий. А вы должны написать *свой*!

Рита взмахнула рукой, как бы отметая все мои невысказанные вслух слова.

– Да знаю я, что вы хотите сказать. Поверьте, Паша, в каждом сценарии можно найти массу несоответствий и слабых мест. Что там говорить, вы почитайте классику. Возьмите хоть Толстого. Его герои часто ведут себя не так, как по логике вещей должны были вести, а так, как хочется автору... А сценарии, порой самые нелепые, работают - и очень эффективно. Вспомните подробности скандала, вызванного шалостями президента Клинтона в Овальном кабинете, например. Гениальная работа! Жаль только, что не наша... Но я с вами заболталась, а дела не ждут.

Рита стремительно направилась в кабинет, но на полдороги остановилась и добавила, что теперь ни о каком Шумкине речи быть не может. Да и вообще со всеми этими клиентами она и сама справляется, благо, существа они незатейливые и предсказуемые.

Нехорошее предчувствие коснулось меня холодной и липкой осенней паутинкой.

– Тестового задания вы, Паша, не выполнили, и поэтому... – Рита замолчала, и я понял, что мне пора уходить. Мечта выбраться из нищеты так и останется мечтой. Ничего, жена и кошка Алиса, ждущие меня дома, поймут и простят. Я честно старался... Бросив последний взгляд на почти девственную страницу «ворда», я поднялся на ноги. Ну и ладно, к черту эту Риту вместе ее конторой! Пусть сама пишет гениальные сценарии для президентов!

– Ну почему вы так торопитесь, – словно услышав мои мысли, промолвила Рита. – Вы не справились с заданием одного рода, но это всего лишь означает, что вам будет поручено продумать и разработать в деталях иной сценарий...

В холле потемнело, собирался скоропостижный весенний дождь. Я снова сел в кресло. Да, кажется, мой роман действительно живет своей жизнью где-то в другом измерении, изредка выныривая оттуда, чтобы принести мне очередной сюрприз...

Не ко времени я вспомнил свой опыт общения с человеком-провокатором. Это был гениальный и абсолютно интуитивный провокатор, потому что умудрялся создавать критическую ситуацию буквально из ничего. Только что все было тихо и спокойно, люди сидели, беседовали, но вдруг появлялся он – и все взрывалось, обстановка опасно накалялась, начинались выяснения отношений... А сам провокатор мастерски уходил в тень, и потом никто уже не мог вспомнить, с чего все началось.

Как и я, он приходил в тюрьму на выходные. Нас так и называли там «вояками выходного дня», вкладывая в это прозвище изрядную долю

презрения. Провокатор появился позднее меня, и в первую свою отсидку показался мне, скорее, приятным, хотя и несколько инфантильным. Впрочем, вне зависимости от возраста основная масса заключенных, с которыми мне приходилось сталкиваться, так и не выбралась из состояния подросткового хулиганства. Взрослые сорокалетние мужики рассуждали и даже одевались в соответствии с мальчишескими представлениями и о жизни, и о моде. Многих именно этот инфантилизм и приводил в тюрьму.

То, что новичок – провокатор, стало понятно позднее, когда он уже несколько освоился с тюремными порядками и системой ценностей. Самое удивительное заключалось в том, что он был бессознательным провокатором. Конфликтные ситуации следовали за ним неотступно, как тень. Думаю, он и сам не понимал своей страшноватой миссии. Но стоило группе других заключенных пройти мимо нашей группки «вояк», как вспыхивала мгновенная ссора. Необычная еще и потому, что нигде я не встречал таких вежливых людей, какими становятся заключенные. В тюрьме ведь никогда не знаешь, кто рядом с тобой, какое неловкое слово приведет к конфликту...

Потом я стал свидетелем еще более страшной истории. Другой парнишка – молодой мускулистый качок – послушав какие-то слова, нашептанные ему провокатором, бросился выяснять отношения с охранником. Вся камера с ужасом следила за ним. Потому что охранник, – хилый и низкорослый, с блеклым лицом дегенерата, – не долго думая, открыл камеру, давая возможность парнишке кинуться на него – и тем самым заработать себе настоящий срок. А провокатор с невозмутимым видом наблюдал за развитием событий. К счастью, в тот раз все обошлось. Но провокатор умудрялся создавать все новые и новые ситуации, грозившие неприятностями даже на воле, но в тюрьме откровенно опасные. Наблюдая за ним, я испытывал странное чувство: этот человек одновременно и восхищал, и ужасал меня. Я старался держаться от него подальше, но не мог не замечать, с каким удивительным мастерством и изобретательностью он подталкивал других к краю пропасти, умудряясь оставаться в относительной безопасности. Он был обаятельным и веселым человеком, люди к нему тянулись. Провоцировать он умудрялся даже тогда, когда пытался помочь. И не ведал, что творит...

Я представил себе провокатора в нацистском концлагере или на стадионе в Новом Орлеане, среди спасавшихся от наводнения и отрезанных от всего мира людей. Он мог бы стать бы зачинщиком бессмысленного и кровавого бунта. Его могли бы придушить товарищи по несчастью, разобравшись, в чем дело...

И тут я сообразил, почему вспомнил о провокаторе. Теперь я знал, какой сценарий от меня ждут, и был почти уверен, что смогу его создать. Ведь я понял главное – то, что исподволь пыталась внушить мне Рита.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДО

Как приятно и как грустно переноситься в прошлое, описывать события давным-давно случившиеся, а потому покрытые, как старинная бронза, патиной отчуждения. Чем ближе подбирался я к тому времени, в котором повествование неизбежно должно было подойти к моему рождению, тем большая робость охватывала меня. Как будто я чувствовал, что став героем собственного романа, могу оказаться во власти сил опасных и безжалостных. Потом, когда роман был уже издан, это ощущение как будто притупилось. Легко и безоглядно я сочинял рассказы и статьи для журнала и с удовольствием отмечал еженедельный праздник выпуска нового номера.

А потом я получил предложение поработать на радио. Началась самая светлая полоса моей жизни, о которой до сих пор вспоминаю с удовольствием. Я хорошо зарабатывал, не был ограничен в творчестве, делал глупости, продиктованные лишь ощущением защищенности и покоя. Ведь осторожным бывает только человек, у которого есть ощущение опасности... Думаю, что Адам нарушил запрет и схрумкал предложенное Евой яблоко потому, что слишком спокойной, лишенной забот и тревог была его жизнь в Эдеме. Ведь до той поры его никто никогда не наказывал. Поэтому изгнание Адама из рая кажется мне карой чрезмерной: легко представить себе, каково пришлось этому изнеженному и не приспособленному к суровой жизни человеку, внезапно брошенному на произвол судьбы. А ведь он еще должен был заботиться о беременной жене...

Мой дядя Лева, старший брат мамы, не был желанным ребенком. Еще в раннем детстве, когда сыновья, особенно первенцы, обычно оказываются центром внимания и заботы всей семьи, Лева не чувствовал, что его любят. Может быть, потому что бабка Лиза, заполучив-таки в мужья вождеденного Абрама, была настолько сосредоточена на нем, что в какой-то момент поняла: рождение сына может оказаться досадным препятствием, отнимающем время и силы, необходимые ей для мужа. Бабка Лиза не была по-настоящему жертвенной женщиной. К Абраму она относилась скорее как к дорогой игрушке, чем как к мужу и главе семьи. И все время ревновала, даже к его собственным сестрам. Слишком вздорный был у нее характер, слишком долго жила она в коконе эгоистичной отцовской любви ...

А дед Абрам просто не успел полюбить сына. Едва родился Лева, как началась Первая мировая война. Абрама очень быстро забрили в солдаты. Как еврейский парень, да еще женатый, мог оказаться вольноопределяющимся российской армии, неизвестно. Известно лишь, что провоевал он недолго, почти сразу попал в плен. К счастью, в Первую мировую немцы еще не додумались сжигать евреев в печах, хотя уже сообразили, что их можно использовать в качестве рабочей силы. Поэтому в плену Абраму жилось, в общем-то, неплохо. Он обнаружил, что немецкий язык очень похож на его родной идиш, так что объясняться с немцами оказалось совсем несложно. А потом ему повезло: толстая немка-фермерша, вдова павшего на полях сражений капрала, затребовала его для работ по хозяйству. Видимо, высокий красивый Абрам ей приглянулся, поэтому в батраки он так и не попал, а

занимался, по моим подозрениям, куда более важными для своей хозяйки делами.

Когда дед Абрам вернулся домой, там вовсю полыхала революция, потом началась гражданская война и, чтобы выжить, требовалось много сил, не оставляющих места таким чувствам, как любовь. Дед и вообще не был сентиментальным. Поэтому Лева рос недолюбленным, но очень нуждавшимся в любви, хотя, наверное, и сам об этом не догадывался.

Меня всегда удивляли восторженные рассказы о самоотверженной родительской любви, о ничем не замутненных отношениях с отцом и матерью. Получается, что у этих людей никогда не случалось ни недопонимания, ни обид, ни мелочных расчетов с родителями, которые были, как на подбор, умны, доброжелательны и обладали на удивление широкими взглядами. Они радовались приведенным детьми в дом мужьям и женам и любили их как своих, с восторгом воспитывали внуков, а если изрекали что-либо по случаю, то и дети, и внуки застывали, пораженные глубиной мудрости патриархов...

Не знаю, как вам, а мне не встречались такие семьи. Любящие друг друга дети и родители да, конечно, бывают. Но идеальной связи между поколениями я не встречал. По-моему, даже отношения пятилетнего малыша с его мамой куда более сложные и неоднозначные, чем между странами Евросоюза.

Когда Лева исполнилось семнадцать – а вся семья к тому времени давно перебралась в Баку, – дед Абрам объявил ему, что поскольку он уже взрослый, то пусть идет и кормится сам, больше его содержать никто не будет. Пустые надежды и невыполненные обещания, на которые была столь щедра жизнь деда, сделали из него человека холодного и скуповатого. Лиза была занята воспитанием двух подрастающих дочек, Веры и Аси, и знать ничего не хотела: по еврейским законам семнадцатилетний парень – уже совсем взрослый мужчина. Кроме того, высокий и широкоплечий Лева был очень похож на своего отца, и это вызывало у Лизы странное раздражение. Как будто ее Абрам раздвоился, и теперь ей придется ревновать еще и этого, более молодого... Поэтому при случае она старалась внушить Лева, что на самом-то деле он некрасив, глуп и неловок. А сама с удивлением думала о том, как у нее посреди голода и разрухи мог вырасти такой красавец.

И в самом деле, внешне Лева был удивительно похож на отца, но внутренне он оказался совсем другим человеком – нежным и незащищенным. Такое иногда случается: у беспросветных алкоголиков вырастают совершенно непьющие дети, а в семье потомственного, плохо умеющего читать сантехника рождается тонкий интеллект. Видимо, природе важно восполнять убыль того или иного вида людей, и она, не заботясь о таких пустяках, как среда и наследственность, выращивает их на первой попавшейся почве.

Когда Лева решил уйти из дома, ни Абрам, ни Лиза не попытались остановить сына. Лева же казалось, что если родители отвергают его любовь, ему будет мучительно встречаться с ними каждый день и знать, что все в нем раздражает и вызывает недовольство отца или матери. Поэтому Лева

поселился отдельно, снял комнату у дальних родственников и начал работать на бакинских нефтяных промыслах, где всегда требовалась рабочая сила.

А несколько лет спустя он влюбился в Минну. Минна была миниатюрной и не слишком привлекательной девушкой с усыпанным оспинками лицом, которая и мечтать не могла о таком красавце. Она смотрела на него восторженно и преданно. Ей все время казалось, что это ошибка, что Лева одумается и не придет на следующее свидание. Поэтому каждый раз она торопилась выказать ему свое доброе отношение и заботу. Но Лева чувствовал себя не менее счастливым: впервые в жизни его любовь не отвергли.

У них было все – ночные прогулки, жаркие поцелуи, томящие многообещающие прикосновения, разговоры о будущем... Но самого главного, делающего их мужем и женой, конечно же, не было. Несмотря на царившие тогда простые взгляды на интимные отношения, оба они оставались обычными мальчиком и девочкой, как тогда говорилось, из хороших еврейских семей. Больше всего они любили сидеть на берегу моря, на камнях рядом с купальнями, построенными напротив Девичьей башни.

Но жениться они, тем не менее, не торопились. Вернее, не торопился Лева. Потому, что чувствовал: семья не одобрит его Минну. Он был почти уверен, что мать не примет вообще никакую девушку, приведенную им в дом. Лизе могло прийти в голову, что он, чего доброго, захочет поселиться с женой в их без того небольшой квартирке, на самом-то деле, представляющей собой построенную на скорую руку из разного хлама хижину без воды и электричества. В качестве удобств использовалось ведро с фанерной крышкой. Моя мама рассказывала, что одним из ее первых воспоминаний стала эта крышка, потому что вырезанное в ней отверстие по размеру было приспособлено для взрослых, и она на всю жизнь запомнила свой детский страх провалиться в это ужасно пахнувшее ведро...

Но Минна была усердна и настойчива. Семья, если уж на то пошло, никак не может повлиять на их судьбу, ведь они люди совершенно независимые. А уж с Лизой она как-нибудь поладит. Минне было хорошо рассуждать: из родных у нее была только выросившая ее тетка – тихая и ни во что не вмешивающаяся старушка. А у Левы, несмотря на натянутые отношения с родителями, оставалась огромная семья, с мнением которой он не мог не считаться.

– Да, – говорила ему Минна, прижавшись к его плечу и глядя на серебрищиеся под луной волны, – конечно, все это так. Но я почему-то думаю, что семья – это когда все любят друг друга и прощают не только свои, но и чужие слабости. И еще помогают друг другу. Вот такая семья и будет у нас с тобой, *наша* семья. Твои родственники увидят, как мы живем, захотят жить так же – и сразу станут добрыми и хорошими. Особенно после того, как родятся наши дети. Когда у твоих родителей появятся внуки, они изменятся, вот посмотришь...

Лева понимал, что в чем-то Минна права, но так же понимал и то, что вряд ли нарисованная ею картинка может стать реальностью. Он искренне любил своих родных, но знал их характер и нравы. Минне потребовалось

больше года, чтобы уговорить Леву расписаться в загсе, а потом, если это будет так уж необходимо для спокойствия его родни, сыграть свадьбу по еврейским традициям.

Узнав о том, что сын нашел себе невесту, Лиза взвилась. Как и предполагал Лева, она кричала, что выдерет косы этой мерзавке, наплевавшей на все приличия. Но кос у Минны не было, к тому же времена наступали такие, что об обычаях лучше всего было забыть раз и навсегда, а уж про приличия и говорить-то было смешно. «Какие приличия, когда они, эти современные девицы, – тут бабка Лиза закатывала глаза, – вообще творят что хотят...» Отбушевав, Лиза призвала к себе Минну для интимной беседы. Догадываясь, о чем пойдет речь, Лева боялся отпускать невесту, но Минна так уверенно и спокойно улыбнулась ему, что Лева отступил.

Пока женщины беседовали, Лева сидел во дворе с отцом, который ради такого случая угостил сына собственноручно изготовленной вишневой наливкой. Абрам был рад женитьбе сына: с годами характер Лизы лучше не становился, и не было ничего дурного в том, что у нее появится новый объект для выяснения отношений. Дед не понимал, что жизнь обманула жену куда больше, чем его самого. И хотя Лиза продолжала жить так, как будто она по-прежнему своенравная дочка богача, ее вера в то, что прадед Вульф защитит ее от любой напасти, становилась все слабее и слабее, пока не исчезла совсем, оставив после себя ощущение нескончаемого сиротства.

Разговор прошел, может быть, не так гладко, как это представляла себе Минна, но и не так ужасно, как ожидал Лева. После беседы с Лизой Минна вышла раскрасневшаяся, со слезами смущения на глазах, но вполне довольная собой. А Лиза, вдруг умилившись, заявила, что эта бедная девочка никогда не видела ничего хорошего в жизни, так что ж с нее взять. По мнению Лизы, все хорошее принадлежало только ей, и оно навсегда осталось в ее родном городке, похороненное на еврейском кладбище вместе с прадедом Вульфом.

Свадьбу сыграли скромную. Собрались Лизины братья и сестры, во дворе хижины поставили стол, Лиза пожарила принесенную Левою курицу, предварительно подвергнув ее критике: она прекрасно помнила, какие упитанные каплуны подавались в их доме... Приглашенный раввин с сожалением косился и на небогатое угощение, и на импровизированную хупу. Лева раздавил ногой стеклянную баночку, призванную изображать принесенный тетей Софой, но припрятанный Лизой хрустальный бокал... Молодые стали мужем и женой и ушли жить к Минниной тетке в ее комнату на втором этаже типичного бакинского дома с внутренним двориком и балконом, на который выходили двери всех комнат.

Неизвестно, что говорила Лиза Минне в их первую встречу, но столь ожидаемые и желанные Минной дети отчего-то все никак не рождались. Но молодые жили дружно и весело. Лева так и остался работать на промыслах, а Минна, став замужней женщиной, устроилась посыльной в культпросвет. В теплое время года тетка спала на балконе, предоставив комнату молодым. Зимой она располагалась на своей раскладушке за занавеской и по ночам долго кряхтела, возилась, что-то бормотала себе под нос, а Лева и Минна, затаив дыхание, ждали, пока она захрапит.

Если им чего-то и недоставало, то они об этом не догадывались – и потому были счастливы. Минна уже с самого утра ждала вечера, когда они слевой вернуться с работы, Лева будет долго мыться внизу во дворе под краном, а потом они сядут обедать. Обеды готовила тетка, при этом умудрялась пересолить все, к чему прикасалась, но Лева только смеялся и говорил, что нефть, которую он добывает, еще солоней, так что он привык. На самом же деле он не привык. Не привык к тому, что теперь у него есть своя семья, к тому, что он влюблен и любим. Каждое утро после ночи любви казалось ему новым и неузнаваемым, и странно было, что мир вокруг оставался прежним. Не верилось, что после такой ночи люди могут по-прежнему жить своими мелкими заботами; что дядя Ашот – старый армянин, торгующий семечками на углу их дома, все так же буднично кивает Левае, когда тот возвращается с работы, а соседка Клавдия Ивановна, парторг на швейной фабрике, все так же сердится на тетку Минны, которая спит на общем балконе.

Минна умудрялась сочетать в себе восторженность по отношению к мужу с практичностью во всех остальных делах. Новые родственники оказались вовсе не такими страшными. Правда, однажды пригласив родителей Левы в гости, она отказалась от надежды на близкое общение: Лиза нагнала такого страха на несчастную тетку, что та боялась пошевелиться и только мелко кивала, слушая, как жила в детстве сама Лиза, что и в каких количествах подавалось в ее семье на стол...

– Ничего – думала Минна, – вот родятся дети, тогда все станет по-другому.

Она представляла их слевой будущую жизнь так: много детей и большой, неведомо откуда взявшийся дом, в котором они будут жить. И тогда свекровь уже не сможет упрекнуть ее за отсутствие крахмальной скатерти и фамильного серебра или за скудное угощение – худосочную пересоленную курицу...

Но все это не успело случиться, потому что началась война. И Левае, и Минне показалось, что она началась почти сразу после их женитьбы, хотя к сорок первому году они жили вместе, наверное, уже лет пять или шесть. И все, жизнь сразу как-то сбилась, завертелась по-новому и понеслась скачками, не разбирая дороги. Лева был нефтяником, поэтому его довольно долго не призывали в армию, но в сорок втором, когда немцы заняли Северный Кавказ, все же прислали повестку из военкомата. Сразу после короткого и бестолкового курса молодого бойца в Сураханах он попал куда-то под Сталинград. По своей природе Лева не был ни храбрецом, ни удалым солдатом. Два чувства неотступно преследовали его с того самого момента, когда, переодетый в нелепую, в спешке выданную не по размеру солдатскую форму, он впервые встал в строй таких же бедолаг-новобранцев. Как и все остальные, Лева страдал от голода и страха. Иногда голод пересиливал, и тогда было легче, потому что унять голод немного проще. Страх же не отступал почти никогда.

Это был не тот хорошо известный трусам ужас перед неведомым, когда покалывает под языком и прошибает ледяной пот. Охвативший Леву страх

был страхом неизбежности, и от него невозможно было избавиться, даже выпив теплого разведенного спирта, которого, в отличие от съестного, у них в подразделении было много. Вместе со своим взводом Лева попал в резервную часть, расположившуюся на степном берегу Волги. Он подолгу сидел на дне окопа полного профиля и, чтобы отвлечься от страха и невыносимой окопной вони, пытался вспоминать свою Минну. Но все вокруг настолько не совпадало с его привычной мирной жизнью, что ничего, кроме голоса жены, вспомнить не удавалось. И тогда страх только усиливался. Тем не менее Лева умудрился подружиться с Федором - низеньким плотно сбитым пареньком из Ростова.

Федор был моложе Левы, но казался куда более уверенным в себе и говорил, что ему наплевать на все, и что он вообще пошел на фронт, чтобы замазать одно дельце и не попасть чалится на зону. Узнав, что Лева еврей, Федор оживился и, хитро улыбаясь, начал расспрашивать, как евреи хранят кровь христианских младенцев, чтобы та не свернулась. Он-то знал, что кровь быстро густеет, и теста с ней не замесишь... Этот древний, почти как сами евреи, и обязательный, как неполное среднее образование, вопрос любого антисемита Леву не удивил: он много раз слышал его при самых разных обстоятельствах. Удивило другое – полное отсутствие у Федора привычного осуждения, а вместо этого наличие живого практического интереса. Так обычно женщины спрашивают друг у друга рецепты понравившегося пирога. Лева заверил Федора, что люди все врут насчет младенческой крови – и даже попытался объяснить ему строгие законы кашрута. Но Федор, придвинувшийся было к Лева и приготовившийся внимательно его слушать, разочарованно откинулся назад, отчего сверху, с плохо утрамбованного бруствера, на него потек тоненький ручеек песка.

– Эх, вы, – сказал Федор, отряхиваясь. – А я-то думал: вот ведь люди, звери просто, чуть что не так, давай сразу у врагов младенцев мочить, чтоб неповадно было. Не-е-е, что бы не говорили, а так и должны вести себя настоящие урки. А батянька мой покойный, который, между прочим, дьяконом был, получается, все врал про казни египетские и разное такое...

Лева чувствовал странное расположение к этому удалцу, впрочем, понимая, что не хотел бы встретиться с ним в темном переулке где-нибудь там, в гражданской жизни. В Федоре чувствовалась какая-то непредсказуемая дикая сила, полное отрицание законов и правил, навязываемых ему окружающим миром. Он даже евреев уважал, вопреки всем байкам, которые слышал о них. Но, главное, Федор не боялся. Совсем никого и ничего не боялся. Рядом с ним Лева становилось немного легче.

– Ты, Левчик, около меня трись, – говорил Федор, по блатной привычке почти не разжимая губ. – А когда на фрица пойдем, ты, главное, не ссы, отобьемся...

Но чуть отступавший временами страх никогда не исчезал полностью, и истерзанный им Лева даже обрадовался, когда невдалеке началась стрельба, и от разрывов снарядов все сильнее осыпался сооруженный на скорую руку бруствер. По фронтовым понятиям и приметам это означало, что скоро их резервная часть переместится на передовую, на смену почти выбитым подразделениям. И действительно как-то ночью их взвод цепочкой

перебрался в другие окопы, хотя Леве показалось, что они вернулись в те же самые, где провели почти месяц: и степь была все той же, и река Волга, и пахло так же отвратительно...

Оставшись вдвоем с теткой, Минна словно вернулась в девичество. Умом она понимала, что у нее есть муж, и что муж этот ушел на фронт. Но с того дня, когда Леву посадили в кузов грузовика и куда-то увезли, он как будто перестал быть для нее живым человеком из плоти и крови, превратился в воспоминание или, может быть, даже и не в воспоминание, а в нечто расплывчатое и неуловимое. Не прошло еще и месяца, а она уже и сама не могла бы сказать, помнит ли настоящего Леву... Наверное, это происходило с ней потому, что где-то глубоко внутри она так и не сумела до конца поверить в то, что Лева ее любит, что они счастливы вместе и, самое главное, ей казалось, что чем больше она отстранится от мужа – настолько, чтобы связь между ними почти оборвалась, – тем меньшая опасность будет грозить ему на фронте. Обманывая себя, она хотела обмануть судьбу...

Узнав о том, что она беременна, Минна впала в состояние глубокого недоумения. Из этого состояния ее не вывело даже Левино письмо – первое письмо, полученное после разлуки. Лева писал, что у него все хорошо, что на фронт он и носу не жает, потому что сидит вместе с другими новобранцами вдали от передовой, и конца этому сидению не видно. Хотя, добавлял он, скоро... дальше строки были замазаны строгим военным цензором, и выполнивший свою работу смершевец даже представить себе не мог, какое впечатление произведет на Минну его бдительность. Ей показалось, что, оборвав Леву на полуслове, погрузив его в страшное фиолетовое ничто, в тот провал, откуда не возвращаются ни слова, ни люди, кто-то неведомый на что-то ей намекает. Но она не могла и не хотела понимать его намеков. Весь жизненный опыт Минны говорил о том, что человек не бывает счастлив абсолютно – так, чтобы какая-нибудь малость не омрачала его счастья. Пока они были вместе с Левой, такой малостью было отсутствие детей. А теперь...

Теперь вновь материализовавшему Леве грозила страшная опасность. Минна ощущала ее куда более остро, чем ребенка, которого она носила. Это было пронзительное, сводящее с ума чувство. Несколько дней она боролась с ним, хотя уже решила, что следует делать, но не будучи в силах произнести это вслух хотя бы для себя самой.

А потом события понеслись еще быстрее, но уже не одно за другим, а параллельно, бок о бок, как лошади в упряжке.

Лева со своим новым другом Федором попал на передовую. Не обращая внимания на браваду Федора, он оцепенело смотрел прямо перед собой и понимал, что вот-вот начнется то страшное, во что невозможно было поверить, но что приходится принимать. Лева видел, как уносили мертвых и раненых бойцов – тех, кого успевали унести, – и не знал, чего больше страшится – смерти или ужасных, невыразимых страданий, на которые был обречен здесь каждый раненый... А Федор не пьянея пил спирт, не лезущий Леве в горло, был весел и призывал «Левчика» «не бздеть».

– Настоящий еврей, – говорил он, многозначительно усмехаясь, – не может погибнуть в такой херне, как эта война. Западло это ему. Я ж про вас

читал, знаю, что говорю. Подумай сам, фараон египетский настоящий пахан был, куда до него сявке Гитлеру, а чем дело кончилось? Это когда евреи с Египта скипнули. Так фараон за ними, а тут море Красное на пути. И ни лодок, ни хрена... Ну евреи на то и евреи, раз – и проскочили, а когда фараон за ними со всей кодлой сунулся, море и сомкнулось. Утоп фараон как котенок... На крайняк, вон Волга, ничуть не хуже того моря, если что, так расступится, а когда эти гниды за тобой кинутся, тут им и кирдык! Ты это запомни, Левчик!

Чуть позже в тот день молодой лейтенантик, командир взвода, объявил солдатам, что ближе к вечеру старшина раздаст им патроны, ну и чтобы, значит, винтовки были начищены, потому как есть сведения: ночью они пойдут в атаку.

В это же время Минна окончательно решила. Она про ту бабушку слышала давно, но, встречаясь с ней на улице, всегда старалась обойти стороной, как будто боялась, что шлейф черных дел, тянувшихся за бабушкой, может оказаться заразным... Но сейчас другое дело, сейчас Минна была способна пожертвовать многим, чтобы спасти Леву. Преодолевая стыд и страх, она отправилась к бабушке, и та согласилась, похмыкав и посверлив Минну темным взглядом: понятное дело, война, немцы того и гляди доберутся до Баку. Куда ж этой еврейке с малым-то дитем... Не торгуясь и не глядя в жуткие бабушкины глаза, Минна договорилась, что придет к ночи, как стемнеет, чтобы соседи не таякали и, того гляди, не вызвали бы милицию...

К ночи, когда патроны были розданы, а винтовки вычищены, немцы, как будто кто-то, несмотря на все усилия «Смерша», их предупредил, начали пускать осветительные ракеты «люстры». Лева вместе со всеми тихо матерился, ожидая обещанной артподготовки, следом за которой они должны были идти в атаку. Но сигнала все не было и не было, и это вселяло слабую надежду, что, может быть, атаку в этот день вообще отменят.

В тот момент, когда Минна уже шла по темным из-за светомаскировки улицам к бабушке, к бойцам на передовую пробрался политработник из штаба. Поминутно вздрагивая от грохота запускаемых немцами «люстр», он лихо заявил, что в атаку придется идти без артподготовки. Потому что, хоть немец и дурак, но и дураку понятно, что за артобстрелом обязательно последует атака. И, значит, он успеет подготовиться. А мы его обманем – атакуем без предупреждения!

– Видно снарядов на батарее нет ни хрена, – шепнул Лева Федор, – то ли подвезти забыли, то ли еще что... Вот же суки!

Федор протиснулся вперед и, прикидываясь деревенским дурачком, зачастил: «Товарищ комиссар, а товарищ комиссар! А «ура» кричать надо будет – или мы по-тихому, чтоб не догадались гады-фрицы?»

Комиссар захлопал красными веками, пытаясь понять, следует ли ему накричать на этого разбитного и не по уставу застегнутого бойца. Но боец так ловко держал в руках винтовку с примкнутым штыком, а в позе его было столько готовности к неожиданно резким движениям, что строгий комиссар все-таки решил улыбнуться шутке, но отметить про себя этого типа на будущее. Сказать же политработник ничего не успел, потому что в это время

запел зуммер полевого телефона и был получен приказ к атаке по двум красным ракетам.

В это самое время Минна на ощупь пробралась в низкий бабкин подвал. С озабоченным видом бабка что-то кипятила в большом тазу на примусе, называемом в Баку керосинкой. От влажной духоты Минне сделалось дурно и так страшно, что она готова была бежать. Но, сделав над собой нечеловеческое усилие, осталась. Минна слышала, будто некоторые бабкины пациентки умирали от кровотечения прямо тут же на столе, в этом жутком подвале, но, внутренне робко торгуясь с судьбой, Минна радовалась, что подвергает себя такой опасности. Пусть она даже умрет, пусть, зато Лева...

Атака, в которую повел свой взвод молодой лейтенантик, быстро захлебнулась. Немцы почему-то не растерялись, а сразу же стали палить из пулеметов. Вокруг падали бойцы. И хотя в самую последнюю минуту, когда, отчаянно ругаясь от страха, Лева вслед за Федором выскочил на бруствер, он перестал бояться, стало понятно, что сейчас его убьют. Лева растерянно огляделся. Куда-то подевался только что бежавший рядом друг Федор. Лейтенантика тоже нигде не было видно. На секунду ему показалось, что он остался совсем один на этом изрытом окопами берегу, и странно было слышать выстрелы и крики. Не было ни немцев, ни русских, а были только он и Волга, которая – он вспомнил смешной разговор с Федором – должна была расступиться, чтобы укрыть Леву. Тут ему сделалось очень больно, так больно, что он даже не мог бы сказать, где именно у него болит. И тогда, сразу поняв что-то важное, такое большое, что не вмещалось в его разум, он побежал, потащился, пополз к воде, к спасительной воде Красного моря...

И Минне было очень больно. Она даже не представляла себе, что в этом мире существует такая боль. Боль заслонила все – и грязный подвал, и бормотанье бабки, и жуткий запах крови. На какое-то время Минна потеряла сознание, а когда пришла в себя, к ней вернулись и звуки, и запахи, и начинающая стихать боль. Она снова услышала бабкин голос.

– Это надо же, – бормотала та с непонятной Минне злобой, – двойня была, мальчишки... Взять с нее, что ли, как за двоих?..

Судьба повела себя странно. Леву среди убитых не нашли, поэтому он попал в списки пропавших без вести. А Минна до конца жизни верила, что он еще найдется, ведь не убили же, ведь не зря же она принесла свою жертву...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЛУТИЯ

Еще не встретив господина и не приняв Единого, я знал, что моя жизнь будет ничтожной жизнью преданного слуги – и одновременно вызывающей зависть многих, ибо мне предопределено было стать свидетелем и участником великих событий. Когда мы с господином возвращались из Мицрама в Кенан без Шари, всего лишь с несколькими рабами, то, несмотря на

полученные в Мицраме дары, даже самый подлый завистник не позавидовал бы нашей участи.

Теперь мне не дают покоя пришедшие к нашим кострам бородатые умники, а я слушаю их и только пожимаю плечами. Они, дерзкие, хотят разорвать на части не очень чистое и потертое полотно правды и соткать из него то, что кажется им более достойным моего господина. Глупцы, они не понимают, что именно этим наносят оскорбление и самому господину, и пославшему его с великой миссией Единому.

Я всего лишь слуга, и мигающие в темноте звезды знают это. Поэтому не мне спорить с поднаторевшими в словесных уловках, как базарные девки в продажной любви, умниками. Но утверждать, что хотя все дети рождаются в крови и нечистоте, существует один избранный, вышедший из чрева матери чистым, как луч солнца – это глупость и непростительная слепота. Бородатые мудрецы не хотят знать, что господин – самый обычный человек, и именно это ставит его выше всех живущих. Что толку наделять его нечеловеческой силой и мудростью? Есть ли повод для гордости у взрослого воина, одержавшего верх над ребенком?

Обрывочны и противоречивы мои воспоминания, но это самое ценное, что оставил мне Единый в награду за долгую и верную службу. Да, я служил своему господину, я предвидел его судьбу благодаря доставшемуся мне дару, но я глубоко заблуждался, думая, что могу предвидеть и свою собственную. Вот оно, вечное наказание всех предсказателей и пророков! Но даже если бы мне было открыто мое будущее, то, несмотря на все тяготы и несчастья, несмотря на те проклятья, которые я заслужил, и те, которые вызваны людским пустословием, я бы не хотел ничего в нем изменить. Единому, время от времени выпускающему нить моей жизни из своих рук и дающему мне, дерзкому, право решать самому, угодно было, чтобы я сопутствовал своему господину и делил с ним его судьбу.

Мы брели по пустыне к перешейку между Великим морем и морем Мицрамским, и худо было моему господину, несшему на плечах тяжелую ношу раскаяния. Время от времени он останавливался, устремлял невидящий взор к оставленной нами реке Нахаль и молча бил себя кулаками по голове. Я никак не мог решиться спросить, что мучает его больше – проявленная слабость или утрата Шари. Несколько дней он не притрагивался к пище, и тогда я начал опасаться за его жизнь, заподозрив, что, обладая даром предвидения великих свершений, я ничего не знаю о невзгодах, которые неизбежно следуют за ними, как торговки разбавленным вином за бабельским войском. Радовало только исчезновение проклятого Нахора. Потому что если бы он остался с нами, я, не удержавшись, мог бы нарушить приказ господина и пролить его жалкую кровь на белый песок пустыни. Но Нахор-Авилот не посмел тогда присоединиться к нам, хотя позднее нам еще пришлось с ним столкнуться, и господин сам мог убедиться в его подлости и ничтожности.

Не знаю, как это объяснить, но господин мой ослаб настолько, что однажды вечером, когда утомленные тяжелым переходом рабы уснули, и у костра остался я один, он сел рядом и опустил руку на мое плечо. Так же как

сейчас обманчиво сверкали низкие звезды, так же как сейчас надрывно кричали невидимые глазу насекомые, а ящерицы чертили на песке свои таинственные знаки. Только, в отличие от сегодняшней ночи, мой господин был рядом со мной. Он неуверенно улыбнулся и заговорил. Никогда еще мне не приходилось слышать от господина столь необычных речей.

Не мне, любящему и верному слуге, судить, что следует говорить и делать моему господину. А если бы я решил, что сказанное недостойно его, то разве не означало бы это, что я, дерзкий, рассуждаю о делах и вещах, неподвластных моему пониманию?

– Друг мой, – мягко произнес господин, и я еще больше изумился, услышав такое необычное для господина обращение, – верный друг мой... Я чувствую, что ты все время хочешь задать мне вопрос, но не решаешься, потому что боишься огорчить меня. Молчи! – видя, что я хочу возразить, он повелительно поднял руку, но тут же бессильно опустил ее. – Все эти дни, возвращаясь в Кенан, я призывал Единого, чтобы понять, что же мне следует делать, и еще ни разу не получил ответа. Ни разу! И только вчера, во время сиесты... Ах, какой это был сон! Никогда еще Единый не проявлял Себя так ясно, и никогда воля Его не была столь очевидна. Тебе, преданному слуге, я могу признаться только в одном: хотелось бы мне, чтобы в этот раз все было иначе. Я, смиренный, не задаюсь вопросом, отчего мне было дано то, что теперь отобрано. Но сейчас мне кажется, что самый жалкий из наших рабов куда счастливее меня, потому что я все же не отнимаю у него последнего...

Думая, что он имеет в виду оставшуюся в Мицраме Шари, я стал утешать господина, говоря ему, что все еще может обернуться к лучшему. В первый и единственный раз я соврал ему, уверяя, что ясно вижу их снова вместе. Но господин оставался безутешным, и видно было, что только любовь ко мне не позволяет ему сказать то, что заставило бы меня делать страшный выбор между преданностью господину и служением Единому.

А наутро мы опять медленно двигались в песках, оставляя позади и Мицрам, и Шари, и пустые надежды. Текучие обманчивые видения пустыни то и дело посещали нас: то вдали, то совсем близко виделись нам высокие городские стены, пышные фруктовые сады, фонтаны, полные прохладной воды... Поэтому когда я, шедший впереди, чтобы указывать путь ленивым разморенным жарой рабам, вдруг заметил среди сияющих песков черное пятно, то не сразу понял, что это такое. И только пройдя еще несколько шагов, увидел на месте одного пятна два, и что меньшее движется вокруг большего. Тогда я понял, что это не обман, и еще понял, что, может быть, смогу хоть немного облегчить груз, лежащий на плечах моего господина. Не сдержавшись, я бросился бежать, чего не следовало делать под таким палящим солнцем. В голове у меня шумело, когда я, наконец, ясно разглядел на песке павшего верблюда и фигурку, с головы до ног закутанную в тряпье. Даже не обладая даром предвидения, по неловким опасливым движениям, по неуклюжим попыткам поднять бедное животное на ноги я бы сразу понял, что передо мной женщина. Страх, с которым она смотрела на меня, говорил о том, что женщина молода и неопытна и, главное, что она здесь одна, без мужчин.

Это была грязная и оборванная дикарка, которая тут же бросилась бежать. Меня, дерзкого, охватил азарт, и я пустился следом, в тот момент не столько думая о господине, сколько желая поймать эту гибкую кошку, набросить на нее аркан, подчинить, ударить ножом под сердце. Да, она была сильной и ловкой, но никакая ловкость не может сравниться с жадой охотника, преследующего дичь не для утоления голода, а из-за бурлящего в крови желания обладать. Я быстро нагнал дикарку, и тогда она упала на спину, подняв, как настоящая кошка, ноги и руки, а в сжатых кулаках угрожающе сверкнули на солнце узкие лезвия. Но могли ли они испугать меня, с детства знакомого с боевым искусством ассирийцев? Когда же я скрутил ей за спиной руки, с невероятным проворством она выгнулась, скрипнула зубами, и по ногам у нее потекло зловоние. Я невольно отпрянул, а она злобно расхохоталась и закричала. И хотя кричала она на неизвестном языке, было понятно, что это ругательства, и что если я и после того, что она сделала, не побрезгую ею, то и сам я жалкая тварь, и проклятие ляжет на головы всех моих потомков.

Я оттолкнул ее на песок и в гневе хотел отдать нашим рабам, бывшим пастухам, которые не стали бы обращать внимание на запахи и проклятия. Но тут подоспел мой господин, и я, вспомнив о своем предвидении, сказал, что эта девушка потерялась в пустыне и теперь по праву принадлежит ему. Господин тусклым взглядом оглядел дикарку и велел развязать ее. А я испугался, что, потеряв Шари, он потерял и жизненную силу, и тяжесть ноши переломила ему хребет. Много позже ангелы Джуда пытались объяснить мне, что господин, метавшийся от надежды стать родоначальником великого народа, как обещал ему Единый, к отчаянию из-за бесплодности Шари, потому и решился назвать ее сестрой. Ведь ни словом не обмолвился Единый, кто станет той, через чрево которой и исполнится обещание. Но мне, дерзкому, все равно думается, что сила моего господина заключена даже в его слабости, и пусть накажет меня Единый, но ангелы Джуда не убедили меня ни в чем.

Как только я развязал дикарку, она подпрыгнула и, захватив полные горсти песка, бросила его в нас с господином. Когда же мы отерли глаза концами головных платков, она уже исчезла, как будто капля воды, ушедшая в бархан. Я вопросительно посмотрел на господина, но он покачал головой, и я не посмел сдвинуться с места, хотя внутри меня бушевала буря. Я хотел сделать своего господина счастливым, хотел, чтобы он выполнил великое предназначение. И если для этого требовалось поймать и усмирить не одну, а множество дикарок, то я был готов сделать это даже ценой собственной жизни, не говоря уже о жизнях тех, кто попытался бы мне в этом помешать.

Но тем же вечером, когда солнце почти село за барханы, и мы расположились на ночлег, господин в который раз удивил меня. Рабы еще не закончили свой ужин и о чем-то вполголоса спорили; господин сидел, как это часто с ним теперь бывало, задумавшись и глядя на угасающий закат, а я пытался внушить себе, что сделанного не вернешь, и что, видимо, Единый не желал, чтобы великий народ начинался с семени, пролитого господином в чрево случайно пойманной в пустыне дикарки. И вдруг из-за края шатра

появилась маленькая гибкая женщина. Глаза ее были густо подведены сурьмой, а ногти на маленьких ручках и пальцах ног были желтыми от хны. На женщине была накидка из какой-то полупрозрачной ткани, а под накидкой угадывалось гладкое обнаженное тело. Она переступала крохотными ножками, как будто танцевала, и было слышно, как позвякивают украшения на ее шее и призывно двигающихся бедрах.

Только тогда, когда удивление отпустило меня, я смог узнать в ней ту грязную дикарку. Но теперь от нее пахло чем-то пряным и одновременно сладким, в глазах не было ни страха, ни жестокости, а только покорное обещание, которым, не обращая внимание на окружающих, она щедро одаривала моего господина. Взглянув на господина, я увидел, что он улыбается. Эта улыбка сказала мне многое. Я отогнал любопытных рабов подальше от шатра и сам уселся вместе с ними, чтобы ненароком не нарушить покоя моего господина. Но когда я думал о том, что сейчас происходит в шатре, все большее беспокойство охватывало меня. Эта добровольно вернувшаяся к господину дикарка могла быть подослана одним из тех племен, чьи отары мы забирали себе, а пастухов убивали или делали своими рабами. Да и правитель Мицрама, решивший оставить у себя Шари, тоже мог подослать к господину убийцу, чтобы окончательно оборвать связь между ним и Шари.

Теперь я могу признаться звездам, что мой пророческий дар порой изменял мне, и тогда я знал о будущем не больше, чем это дано обычному человеку. Внезапно, как кинжал проклятой дикарки, пронзила меня мысль, что я, тот самый верный слуга, которому полностью доверился господин, беспечно сижу у костра, в то время как ему может угрожать страшная опасность. С проклятиями вскочил я на ноги, но они тут же подкосились, и от неожиданности я опять опустился на песок. Потому что из темноты прямо на меня, улыбаясь во весь рот, вышел проклятый раб Нахор. На время я забыл о своем желании прирезать его и только спросил, как он нашел нас, и зачем, презренный, бросил в Мицраме Шари.

Нахор рассмеялся своим обычным подлым смехом и сказал, что не таков он, чтобы бросать женщину, к тому же свою госпожу. Тут желание пустить ему кровь вновь охватило меня. Потому что снести оскорбление, вскользь брошенное моему господину, было выше моих сил. Я вскочил и уже схватился за меч, но этот мерзкий раб мгновенно оценил опасность, отпрыгнул от меня и шепотом закричал, что не мечом я должен ему грозить, а поклониться как родственнику своего господина и спасителю его жены.

Только тут я до конца понял, что происходит. Не теряя времени на расспросы нагло улыбающегося Нахора, я бросился к шатру господина, ожидая увидеть все что угодно и заранее ругая себя за глупость и нерасторопность. То, что я увидел, поразило меня, и я решил, что опоздал, что дикарка успела сделать свое черное дело. И только когда раздался громкий женский смех, я сообразил, что господин жив. Он просто опустился на колени, а перед ним, одетая пышно, как полагается богатым женщинам Мицрама, стояла Шари, за спиной которой пряталась, покорно опустив голову,

безмолвная дикарка. Я перевел дух, еще не понимая, следует ли мне радоваться или огорчаться.

Потом, когда все успокоилось, и господин устроил пир в честь возвращения Шари, а я одним ударом меча убил двух наглых рабов, позволивших себе непочтительно обсуждать действия господина, негодяй Нахор рассказал мне, что только благодаря его уму и храбрости удалось вырвать Шари из рук мицрамского правителя. Посмеиваясь, он врал о том, как храбро вел Шари по пустыне, как купил у встреченного на полпути неведомого племени служанку, которую Шари назвала Хайгайри, и которую они послали вперед к господину, поскольку та родилась в пустыне и могла быстро нагнать нас, отыскивая на песке одной ей понятные следы. Я не поверил ни одному его слову, но Шари вернулась к господину, и мне не оставалось ничего другого, как согласиться с этим. А пытаться узнавать, что случилось на самом деле, я не посмел. Мне не хватило мужества, чтобы услышать унижительные для господина речи.

Много раз я ругал себя за то, что, чувствуя подвох и зная, что следует сделать, отступал, не решаясь ухватить обманщика за его нечистую руку. Я понимал, что Хайгайри чем-то опасна моему господину, как понимал и то, что Шари что-то задумала, пользуясь его слабостью и чрезмерным доверием. В свое оправдание могу сказать только, что когда речь идет о женщине, особенно такой, как Шари, действовать мечом – далеко не лучший способ чего-либо добиться. Что же касается хитростей и уловок, то, несмотря на умение предвидеть будущее, я оказался негодным помощником своему господину, в чем смиренно признаюсь звездам, но не людям. Ибо снова и снова готов я повторять: из правдивой истории люди выбирают только то, что им больше нравится, как пресытившийся сверх меры обжора выбирает самые лакомые кусочки, бросая остальное собакам.

Признаюсь, было такое время, когда мне казалось, что все идет так, как указано Единым. В полных воды и жизни землях Вирсавии приумножились наши стада, и рабы наши уже не были жалкой горсткой полудиких пастухов, и господин мой приобрел уважение и любовь многих живших по соседству племен. Но вслед за богатством и величием всегда черной тенью крадется зависть. Я пробовал увещевать господина, чувствуя, что эта зависть может обернуться опасным весенним скорпионом, заползшим в его сандалию. Но Шари, не привыкшей скрывать своего богатства в Бабелле, даже нравилось дразнить и своей надменностью, и своими капризами людей из других племен, живших суровой кочевой жизнью. Она оставалась бесплодной, и что бы ни случилось с ней в Мицраме, это не наложило на нее никакого отпечатка, ни плохого, ни хорошего. Мне начинало казаться, что и сама Шари такая же – не хорошая и не плохая. Она была как вода, не имеющая ни вкуса, ни запаха, и принимающая форму того сосуда, в который она попадает.

Это мучило меня, я не мог понять, что же делать, и проклинал свой жалкий дар, потому что он не подсказывал никакого выхода, не давал ответа ни на один из мучивших меня вопросов. Но что самое ужасное, мне стали сниться странные сны. Они не могли быть проявлением моего пророческого дара, потому что ничего не говорили о господине и его будущем. И в то же

время они рассказывали обо всех нас, находящихся под его рукой и опекой. Я видел вещи, которые невозможно описать словами, потому что они были недоступны моему слабому рассудку. Сны эти не были посланием Единого, ибо общение с Ним было уделом господина, я же, дерзкий, не мог и помыслить о таком. Но и происками Другого эти яркие сны тоже быть не могли. Я видел множество лиц, но единственным знакомым было лицо Шари. Я стал присматриваться к ней и задумываться, тут-то мне и пришло в голову, что ни я, ни господин не знаем ее по-настоящему. Однажды ночью я не выдержал. Мне казалось, что взглянув на спящую Шари, я смогу понять, какая она на самом деле, и это поможет мне решить, что делать дальше. И если за мою дерзость нужно будет потом умереть от руки господина, то я покорно приму свою участь, как и положено верному слуге.

И вот когда наш ставший теперь большим и шумным стан погрузился в тишину, я взял меч и ползком прокрался к шатру Шари. Я понимал, что глупо и недостойно мужчины, пусть даже и не способного любить женщину, пытаться тайком взглянуть на спящую жену своего господина. Но я понимал и то, что не избавлюсь от своих сомнений, пока не выполню задуманного. И снова со мной случилось то, что часто случается с усердными, но неумными слугами: я оказался очевидцем того, что не было предназначено ни для моих глаз, ни для моего ума. В шатре Шари шепотом беседовали несколько человек – и среди них был мой господин. Шари больше молчала, но трое незнакомцев говорили почти не останавливаясь, и странна и малопонятна была их переливчатая речь. Только потом, много после узнал я, что так разговаривают ангелы Джуда.

Они в чем-то убеждали моего господина, а господин возражал, что кровь не должна быть пролита, что его потомков могут проклясть за это, что ему страшно, что пусть лучше отнимут руку. И тогда возвысил голос один из ангелов, и даже мне было понятно, о чем он говорит. Кровь всегда была и будет залогом верности Единому. Только кровью, одной только кровью будет подписан Залог и Завет, потому что пустое обращено наружу, а подлинное направлено внутрь. И как кровь, наполняя тело силой жизни, невидимо бежит по жилам, так и воля Единого проявляет себя неявно. Говорящий замолчал, и тогда вздохнул мой господин и сказал, что согласен, если на то воля Единого. Радостно заговорили другие ангелы, а Шари весело рассмеялась. И только я, невольный свидетель, расслышал в голосе господина тоску и неуверенность. Но не успел я подумать об этом, как из шатра раздался крик боли. Это кричал мой господин, и я, уже не раздумывая, бросился ему на помощь.

Много позже, когда этот обряд стал законом нашего народа, когда завистливое и неблагородное йеменское племя Джухрум уже переняло этот обряд, и от этого пошла рознь и полилась совсем другая кровь, я понял, почему и трое незнакомцев, и Шари были так веселы в ту ночь, почему господин мой, хоть и бледный, ласково мне улыбнулся. Но тогда, увидев окровавленного господина, я решил, что это коварная Шари, чтобы оправдать свое бесплодие, решила учинить над ним одну из тех уловок, которым научились в противном Единому храме Иштар.

Чем ближе подхожу я к самому главному, ради чего тревожу воспоминаниями звезды, тем обрывочнее становятся эти воспоминания. Как будто моя пугливая мысль старается пропустить самое неприятное, то и дело, как мошенник на базаре, подсовывая взамен полновесных, но болезненных воспоминаний пустые никчемные подробности. Не хочется вспоминать о том, как еще раз была потеряна для господина Шари, как потом вернулась к нему, плачущая и несчастная, и господин вместо того, чтобы убить, как на его месте поступил бы любой, простил ее и принял.

Но я совсем позабыл о служанке Шари, о Хайгайри. Она, как и положено служанке, тоже нередко проводила ночи в шатре господина, и Шари была рада этому. Потому что ответственность за невозможность принести господину наследника делилась теперь на двоих. Но и вдвое тяжелее было моему господину. Несколько раз, когда господин терял присутствие духа, я позволял себе спрашивать его о том полуденном сне, в котором, по его словам, Единый отобрал уже отданное ему. Но ни разу не удалось мне узнать, что именно видел во сне мой господин.

А потом у господина родился сын. Это произошло зимой, в то самое время, когда обильно плодились наши овцы, что было сочтено хорошим знаком. Первенец оказался крепким и сильным, достойным своего отца. Господин был счастлив. Обещанное сбывалось, и мою радость не омрачало даже то, что господин выделил стада и наделы набившемуся в родственники Нахору. Я знал, что этот наглый раб приложил руку к каким-то темным проискам, которые господин, ставший, наконец, отцом, упорно не желал замечать, но ничего не мог с этим поделать. Когда в очередной раз я заговорил с господином о Нахоре, он, теперь столь легко переходящий от довольства к гневу, ударил меня, дерзкого, и приказал забыть о своем ничтожном даре, запретив даже в мыслях в чем-либо подозревать его близких. Потом он ударил меня еще раз, чтобы лучше стала понятна его воля, и, сплевывая на землю кровь, я поклялся, что буду глух и слеп ко всему, не имеющему отношения к мои прямым обязанностям.

Но чуть позже, когда господин перестал гневаться, он призвал меня и сказал, что все дело в любви. Той самой любви, которой мне не суждено узнать, но которая дана ему Единым, и которую он обязан сберечь, даже рискуя показаться недостойным главы рода. Да, я действительно не знаю иной любви, кроме привязанности к господину, но напрасно он упомянул о том, что эта его любовь сжигает внутренности человека и лишает его рассудка. Такое чувство знакомо и мне. Потому что ничем другим, кроме безумия, я не могу объяснить многие свои поступки.

Возраст, которому не подвластен мой господин, начинает сказываться на его верном слуге, и я многое упускаю, забываю или отвлекаюсь. Радует только уверенность, что слушающие меня звезды и без того знают все – и что они простят мне мою небрежность, как когда-то прощал мой господин.

Народу было объявлено, что Шари принесла господину долгожданного наследника. Рабы кричали, как опоенные тайными зельями, я даже опасался, что, пользуясь безнаказанностью и попустительством господина, они перережут все наше стадо. Шари не показывалась никому на глаза уже давно,

по бабелльским традициям укрывшись в шатре вместе со своими служанками. Я твердо держал данное господину обещание не пользоваться своим пророческим даром и не лезть в чужие дела. Но что такое моя воля в сравнении с волей Единого? Я опять начал видеть необычные сны, и сны эти становились все навязчивей. Мне, всегда готовому умереть не дрогнув, было страшно от увиденного; во сне я пытался и не мог уберечь что-то ценное, защитить то, важнее чего нет в мире. И я просыпался в холодном поту с криком, пугающим спящих неподалеку рабов.

Однажды какой-то пастух принес нам известие, что мерзкий Нахор-Авилот попал в рабство. Очевидно, сытый по горло его подлыми уловками правитель Элама, где поставил свои шатры Нахор, захватил и его, и его людей вместе со всем имуществом. Господин взъярился. Но, зная мое отношение к Нахору, оставил меня с женщинами, а сам опоясался мечом и во главе отряда наших рабов отправился на выручку. Уходя, он наделил меня большой властью и еще большей ответственностью. Ведь на мне теперь лежала забота обо всех женщинах рода и, самое главное, о наследнике.

В первую же ночь я снова поступил как усердный, но слишком глупый слуга, взвалив на свои плечи груз не только ответственности, но и обладания страшной тайной, по случайности приоткрытой мне Единым. Теперь, по прошествии времени, я думаю, что это могло быть посланным мне испытанием. Так воину кладут в руку раскаленный камень, чтобы понять границы его воли и бесстрашия.

В первую же ночь, обходя стан, я услышал крики младенца, доносившиеся из шатра Шари. Это кричал Первенец, и поначалу я не придал этому значения: о младенцах я знал, что они часто кричат. Но стоило мне подойти поближе, как я услышал что-то странное, и ужас сковал меня, как тогда, во сне. Кто-то пытался заткнуть Первенцу рот, а ребенок вырывался и кричал еще громче. Чувствуя, что ноги плохо мне повинуются, я медленно отыскал щель между шкурами, покрывающими шатер, и заглянул внутрь. Слабого света было достаточно, чтобы увидеть, как раздраженная Шари пытается засунуть в рот младенца свою маленькую, по-девичьей упругую грудь. Первенец крутил головой, дергал ножками и закатывался от крика. И когда я почти потерял голову от увиденного, откуда-то из темноты выскочила служанка Хайгайри. Глаза ее пылали, а лицо было еще страшнее, чем во время нашей первой встречи. Она выхватила Первенца из рук госпожи, прорычала что-то по-звериному и приложила его к своей груди. Ребенок нашел большой мягкий сосок, казавшийся в полутьме черным, тут же успокоился и зачмокал, окрасив белым молоком розовый ротик.

Я еще не успел понять, что тут происходит, но изменившееся выражение лица Хайгайри, которое мгновенно сделалось нежным и кротким, открыло мне страшную тайну, повлекшую за собой множество бед.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОСЛЕ

– Каждый преступник подсознательно стремится быть пойманным и наказанным. Иначе в душе даже самого закоренелого бандита возникает странный перекося, потеря точки отсчета. Так бывает при некоторых заболеваниях мозга, когда люди теряют возможность встать на ноги. Они не могут удержать равновесие, потому что исчезает ощущение верха и низа. Само слово «преступление» происходит, как вы понимаете, от глагола «переступить», то есть, нарушать. Это своего рода игра, и закончиться она может только одним – наказанием. В противном случае преступник чувствует внутренний дискомфорт и начинает нервничать: возвращается на место преступления, пишет зашифрованные записки детективам, да мало ли еще что. И все это делается для того, чтобы игра велась по правилам. Правила игры. Запомните, пожалуйста. Это важно.

Рита улыбнулась, и я привычно закивал головой. Шел четвертый день моей работы в «Золотом ките». Все это время я просидел за компьютером, мучительно пытаюсь сформулировать и записать хотя бы несколько фраз сценария ПВ. Но, к моему удивлению и разочарованию, возникавшие в воображении образы почему-то не хотели превращаться в конкретный сценарий. Что-то сбоило, мешало, не давало внятно изложить придуманное. Так бывает с яркими интересными снами, которые, как ни старайся, не поддаются пересказу наяву. Хотя, казалось бы, никак не дающийся мне мотив был давно известен. На эту тему я написал роман...

Почувствовав, что я погрузился в свои мысли, Рита деликатно откашлялась. Эта пожилая дама вызывала во мне симпатию и все больший интерес. Необычно молодые глаза и непривычная манера говорить были не единственными ее странностями. В Рите чувствовался кураж фокусника, готовящегося показать трюк, от которого зритель придет в полное недоумение. Но временами из-под облика милой интеллигентной женщины проглядывала чужая жестокая сила, страшная и необъяснимая. Кроме того, порой мне начинало казаться, что каждый день она немного другая – не такая, как накануне. Иногда я ловил ее на мелких несоответствиях: она не помнила сделанного или сказанного вчера. Впрочем, в таких случаях она смеялась и говорила, что приличному джентльмену не пристало напоминать женщине о ее возрасте.

– Так вот, изучение правил, по которым играет преступник – занятнейшее дело, Пашенька...

Рита поправила волосы, и я обратил внимание на перстень с крупным бриллиантом, казавшийся несоразмерно тяжелым для ее худенькой руки.

– Кантовский категорический императив прекрасно сформулирован, но согласитесь, дело не в формулировке. Думаете, я не знаю, как вы сейчас мучаетесь, пытаюсь создать сценарий, призванный поразить воображение – как лично мое, так и всего человечества в целом? Прекрасно я все понимаю! Ах, Паша, человек, задумавший нечто грандиозное, как правило, не добивается должного результата. Вспомните вавилонскую башню, например. Сколько таких башен было в истории человечества... Нет, по-настоящему

великие вещи, позволю себе заметить, создаются случайно и являются не целью, а, в каком-то смысле, побочным эффектом. Возьмите хоть египетские пирамиды или Эйфелеву башню...

Я хотел было возразить, но подумал, что Рита затеяла этот разговор явно неспроста, и сейчас мои возражения будут неуместны. И снова она угадала мои мысли.

– Не возражаете, хотя не согласны? – Рита коварно улыбнулась. – И правильно делаете! Потому что сейчас не до споров. Мы с вами отправляемся на ПВ, чтобы вы на практике убедились, насколько просты и, я бы даже сказала, незатейливы приемы, приводящие к необходимому нам результату. Вы получите представление об алгоритме проверки и, главное, это поможет вам выбрать одно из двух самых сильных средств, которыми...

Рита остановилась, замотала головой так, что ее волосы растрепались, и сообщила, что и без того отступила от своего первоначального плана ничего мне не рассказывать, дабы я мог с чистого листа...

– Вынуждена признать, что ошибалась в оценке вашего способа мышления. Видимо, вы, творческие люди, устроены иначе. Не так, как мы, существа обычные. Впрочем, у меня уже были случаи в этом убедиться...

Рита заметно погрузнела.

– Понимаете, Паша, я ведь родилась в семье творческой. Да-да. Отец был известным человеком, впрочем, в довольно узких кругах. И это не расхожая шутка, а реальный факт. Дело в том, что отец занимался достаточно специфическим делом: он придумывал трюки для иллюзионистов, престижитаторов и прочих фокусников. Вы даже представить себе не можете, что это значит – жить в обстановке полной секретности. Потому что государственные секреты охранялись, мне кажется, менее тщательно, чем отцовские. По крайней мере, дверь у нас в квартире была сейфовая... Но я разболталась, а нам уже пора ехать.

Мы быстро спустились вниз, сели в серый Ритин «Инфинити», который она почему-то звала сэром Максом, выехали на шоссе и помчались в сторону Квинса. Рита вела машину молча, и только когда в районе аэропорта Кеннеди мы попали в изрядную пробку, взглянула на часы, вздохнула и снова заговорила.

– Я вспомнила про отца отнюдь не из старческой сентиментальности. Говоря современным языком, в этом бизнесе крутились огромные деньги, и секреты фокусов стоили очень дорого. Тем более что отец обладал удивительным талантом: его фокусы не требовали дорогостоящих приспособлений или длительных тренировок. И, поверьте, к нему обращались не только фокусники. Соответствующие органы тоже приходили к отцу за помощью. Потому что придуманное отцом выглядело совершеннейшей фантастикой, по сравнению с которой фокусы семьи Кио или, скажем, Дэвида Копперфильда кажутся дешевыми балаганными трюками. Так вот, отец любил говорить, что точно так же как преступник в глубине души хочет быть пойманным, все остальные нормальные люди хотят быть обманутыми. Поэтому главный инструмент хорошего иллюзиониста – это мозги его зрителей...

Вереница машин чуть тронулась с места, и Рита лихо сменив ряд, втиснулась между стареньким микроавтобусом и роскошным кабриолетом. Движение снова прекратилось, но мне показалось, что Риту это ничуть не огорчило, хотя, по ее словам, мы уже опаздывали.

– Да, так к чему это я? А, вот... – Рита выпустила руль и откинулась на сидении. – Когда я выросла и уже училась в университете, у нас с отцом начался нескончаемый спор о том, какое чувство сильнее – страх или любовь. Отец говорил, что все мыслимые комбинации человеческих эмоций в конечном итоге сводятся к страху. Это самое сильное чувство и победить его практически невозможно. Я же, будучи молодой и изрядно наивной девицей, утверждала, что страху можно противопоставить только любовь. Говорила, что его поколение, навсегда зараженное страхом перед любым чиновником, облаченным хотя бы минимальной властью, не в состоянии представить себе более сильного чувства. И даже приводила примеры. Доказывала, что природе человека свойственно побеждать страх любовью...

Слушая Риту, я вдруг вспомнил собственные тюремные ощущения – нескончаемые, изматывающие душу. Когда я приехал на Райкерс-Айленд в третий раз, у меня появилось обманчивое ощущение, что теперь я знаю, чего ожидать, и потому самый главный страх – страх неизвестности – должен отступить. Осталось только чувство настороженности, от которого зеку избавиться невозможно. Я даже немного гордился своей опытностью, сводящейся, на самом-то деле, к небрежливости и умению не замечать вони.

И вот ранним воскресным утром, когда вся камера спала, вдруг вспыхнул свет и раздались громкие крики. Я поднял голову, и спросонок мне показалось, что по нашей огромной камере носится группа взбесившихся роботов. Истерически что-то выкрикивая, они неуклюже бегали по камере и били дубинками по железным остовам шконок. Один из них подбежал поближе, и я, наконец, сообразил, что это не роботы, а облаченная в бронезилеты охрана. Сморщенные плотно сидящими на голове шлемами лица этих людей были настолько искажены усилием, с которым они преодолевали собственный страх, что казались по-настоящему жуткими. Наверное, такие лица бывают у палачей перед выстрелом в упор. Не знаю, чего именно они боялись, но меня опять охватило ощущение абсурда, настырно лезущего в реальную жизнь. Я решил, что в тюрьме начался бунт, и сейчас эти обезумевшие от ужаса охранники, не разбираясь, начнут расправу над зеками, а потом нас, избитых, рассадят по одиночным камерам. Не скоро выяснится, что я, «вояка по выходным», не имею никакого отношения ни бунту, ни, по большому счету, к самой тюрьме, и что сегодня вечером меня должны отпустить на волю. А потом я представил себе все ужасы этого самого бунта и содрогнулся. Пожалуй, тут одиночкой не отделаешься... А охранники все бегали, поднимали зеков на ноги и высокими вибрирующими голосами требовали держать руки за головой, не опуская ни на секунду. И опять я захлебнулся в волнах абсурда. Зачем все это? Почему истошно, как перед убийством, кричат эти люди?

Чуть позже выяснилось, что это был всего лишь обыск, обычный шмон и, на самом-то деле, выглядело это скорее комично, чем устрашающе. Потому

что в так называемую «тревожную группу», проводящую шмоны, по очереди включали всех без исключения охранников. А среди них было довольно много толстеньких и приземистых теток-островитянок, на которых вооружение – тяжелые прозрачные пластиковые щиты и бронежилеты, рассчитанные на крупных мужчин, – смотрелось, по меньшей мере, странно. Бедные тетки с трудом тащили на себе эту амуницию и тоненькими голосами грозно кричали на зеков.

Конечно, комичным это кажется только сейчас. А тогда, держа руки за головой и следом за другими направляясь в туалет для более детального осмотра, я чувствовал, что потихоньку схожу с ума: какая-то шальная чужая память, та самая, что прокрадывалась ко мне в тюремном автобусе, вдруг заговорила в полный голос. Когда в туалете меня заставили раздеться догола, а потом осматривали полость рта, я с ужасом поглядывал на ряд блестящих трубок в примыкавшем к туалету душевом отделении, ожидая, что оттуда вместо воды вот-вот потечет газ. Это ощущение было настолько сильным, что мне, вопреки здравому смыслу, захотелось схватить неуклюжую тетку за горло, взять ее в заложники... хотя бы для того, чтобы довести абсурд до его высшей точки. И тогда странные и наивные в своей очевидности мысли стали приходить мне в голову. Почему, подумалось мне, люди вообще выполняют чьи-то приказы? Что заставляет одних бежать в атаку и умирать по воле других? Страх перед начальством? Но неужели он сильнее страха смерти?..

Мне кажется, в тот день я понял, почему в нацистских концлагерях идущие в крематорий люди редко восставали, редко нападали на относительно небольшую кучку охранников. Дело тут не только в том, что разум нормального человека отказывался верить в скорую смерть. Большинству жертв казалось, что убивать невинных людей могут только преступники и только во гневе, а тут... Абсолютная убежденность охраны и остальных работников лагерей в том, что все происходит в рамках закона, передавалась и их жертвам. *Dura lex, sed lex*, говорили латиняне. Закон следует чтить, даже если это изуверский закон о поголовном уничтожении евреев... Кошунственная мысль!

– Пашенька, вы совсем меня не слушаете, – проницательно заметила Рита. – А ведь я не просто так болтаю. Да и вообще вы на работе и потому извольте не отвлекаться, голубчик. Так вот, о моем отце. Вспомнив занятую историю, упомянутую в одном из рассказов Алексея Толстого о Петре Первом, отец решил доказать мне свою правоту на деле. Случилось это, если мне не изменяет память, в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом, вскоре после снятия с должности Хрущева. Я уже вам говорила, что у отца были золотые руки, он мог самостоятельно изготовить все что угодно. И вот, когда к нему за очередной разработкой пришли двое чинов из органов, отец повел их в свой кабинет. Открывает дверь, пропускает их вперед, а там... Там за столом сидит Никита Сергеевич Хрущев. Ну, конечно, это была кукла, отцовская выдумка. Но нужно было видеть лица этих двоих, особенно когда Хрущев вскочил и стукнул по столу кулаком... И ведь, заметьте, не Сталин, а всего лишь Хрущев; и даже не умерший, а только отправленный на пенсию. И не нервным дамочкам показали эту механическую куклу, а двум полковникам

КГБ. Спрашивается, чего они так испугались? Да-а, страх – большая сила. Но тогда я долго смеялась и доказывала отцу, что если бы он сделал куклу Сталина, то спор выиграла бы я. Потому что Сталина *они* любили... А потом, много лет спустя, я прочла ваш роман. Он ведь о любви, не правда ли?..

Наконец-то пробка начала рассасываться, машины стали разгоняться, по обеим сторонам дороги замелькали двухэтажные кирпичные домики, и вскоре мы съехали с шоссе на тихую улочку Квинса.

– Ну вот, – удовлетворенно сказала Рита, – а теперь непосредственно о предстоящем деле. Мы с вами направляемся в офис доктора Максима Гробового для того, чтобы вручить ему почетную грамоту, как лучшему представителю русскоязычной общины. Не смотрите на меня так, Паша, это, конечно, выдуманный повод: нет такой грамоты и титула такого нет. Но доктор Гробовой легко поверил в его существование, потому что убежден: подобное звание по праву должно принадлежать именно ему. Вот мы и едем, чтобы с почетом вручить герою, так сказать, заслуженную награду. Ну да, конечно, вы наверняка заметили: мы часто работаем с представителями медицинских профессий. Занятнейший народ, скажу я вам...

Рита рассмеялась, и мне не очень понравился ее смех. Интересно, подумал я в очередной раз, кому могли понадобиться все эти доктора? Зачем их проверять? Но размышлять было некогда, Рита уже парковала машину прямо перед вывеской, которая сообщала, что доктор медицины М. Гробовой, специалист по акушерству и гинекологии, принимает пациентов именно в этом офисе.

Место, в которое мы с Ритой попали, плохо ассоциировалось с названием «офис». Даже центр жуликоватого доктора Коца выглядел куда более презентабельно. А здесь под приемную была приспособлена обычная квартира в полуподвале частного дома. К моему удивлению, больных было много. В основном, пожилые дамы, сидевшие с покорными лицами людей, готовых к долгому ожиданию. Я расположился на пластиковом стуле, а Рита подошла к девице-секретарю, отгороженной от посетителей невысоким барьерчиком. Девица с нескрываемой ненавистью посмотрела на Риту и вымученно улыбнулась. Я не слышал, о чем они переговаривались, но, судя по лицу девицы, радостная весть о награждении ее босса не вызвала у нее ни малейшего энтузиазма. То ли доктор платил ей копейки, то ли ей за те же деньги приходилось обслуживать не только пациентов, но и самого Гробового, но было видно, что она не испытывала никакой любви ни к работе, ни к работодателю.

Через некоторое время Рита уселась рядом со мной. На ее лице сразу появилось то же выражение покорного ожидания, но я, уже немного знакомый с нею, заметил в ее ярких живых глазах многообещающие искорки. Интересно, что сейчас будет? Хотел было спросить об этом у Риты, но натолкнулся на строгий, предупреждающий любые вопросы взгляд.

Скучать мне пришлось недолго. Скоро входная дверь отворилась, и в приемную неуклюже вошла очень беременная женщина. Выражение ее лица было таким, что я чуть было не кинулся к ней, чтобы спросить, не нужна ли помощь. И только спустя несколько секунд с трудом узнал в этой

непривлекательной и очевидно несчастной женщине красавицу Галю. Да-а, недооценивал я искусство преображения! Не знаю, кто гримировал Галю, но этот человек был великим мастером.

Галя подошла к девице-секретарю и жалобно запричитала. Девица отшатнулась от нее и что-то ответила тоненьким голосом. Удивительно, но лицо ее стало таким же, как у тех теток-тюремщиц – испуганным и ненавидящим одновременно.

– Нет, – повторила она уже громче, – без страховки никак нельзя. Я ж говорю вам, доктор без страховки *никого и никогда* не принимает. Или наличные платите, или страховку дайте. А так просто – нельзя!

– Никого и никогда! – гаркнул бас у меня над ухом, и я вздрогнул. Удивленный преображением Гали, я не обратил внимание на Феликса, появившегося в приемной следом за ней. – Вы это бросьте, милая девушка! Клятва Гиппократова, она ж... Это же самое святое для любого настоящего врача! Вы вот у своих пациентов спросите! Разве может врач думать не о больном, а о презренном металле, а?! Это я о деньгах, если кто не понял...

Феликс широко развел руками, как бы охватывая, соединяя воедино всех находившихся в приемной и, в то же время, внимательно заглядывая в глаза каждому. Пациентки проворно отводили взгляды. Им явно не хотелось становиться участниками этого странного, никак не предусмотренного размеренным течением их жизни происшествия.

– Неужели вы не согласны со мной? Ведь врач, это... – Феликс взмахнул разведенными руками и молитвенно сложил их перед грудью. – Врач – это существо жертвенное! Вспомните, некоторые из врачей прививали себе оспу и чуму только для того, чтобы спасти человечество. А сейчас нам говорят, что доктор не примет бесплатно несчастную беременную женщину? Не верю! Быть такого не может!

Старушки беспокойно поеживались, а самые отчаянные даже сочувственно покачивали головами. Назревал скандал. Девица-секретарь, не выдержав напряжения, выскочила из-за стойки и бросилась по коридору в глубину офиса. Провожая ее взглядом, я невольно обратил внимание на короткую юбку и стройные ноги и подумал, что доктор М. Гробовой умеет сочетать полезное с приятным. Феликс тоже поглядел ей вслед и с веселым отчаянием, как болельщик на стадионе, заорал: «Правильно! Доктора! Доктора сюда!» Но его крик был прерван невысокой полной бабкой в кофточке с люрексом, от которого, как от дискотечного шара, по комнате заметались блики.

– А вы тут не безобразничайте, гражданин! – безапелляционно заявила она. – Я ведь и полицию могу позвать.

– Милая, да зачем же полицию?! – Феликс скривил лицо, как будто собирался заплакать. – Разве полиция будет ради вас себя оспой инфицировать? Нет, не будет! И потом я, может, сам из ФБР.

– Вы хулиган, – бойко заявила старушка, – а хулиганов в ФБР не держат! И вообще, чего вы хотите от доктора? Чтобы он вашу любовницу бесплатно принимал? Как брюхатить, так у вас есть деньги, а на доктора, значит, нет?..

Феликс совсем не смутился оказанным ему отпором. Он подбоченился и с добрым прищуром поинтересовался:

– А почему бы ему и не принять ее бесплатно? Доктор-то гинеколог, к кому ж ей еще идти? Не к дантисту же. А может быть, она как раз от него беременная, откуда вам знать?»

– А вы знаете, сколько врачу приходится учиться? – не растерялась старушка, проигнорировав последнее замечание. Она вскочила на ноги и люрексовые зайчики снова пошли-побежали по стенам. – Ему, может, десять лет только на одну учебу потратить нужно, а вы хотите, чтобы он бесплатно принимал, – авторитетно заявила она. – Это что же будет тогда?

– А тогда... тогда будет... – Феликс прикрыл один глаз, как человек, пытающийся перемножить в уме пятизначные числа, а потом неожиданно широко открыл оба и закричал: «Ба, вот и доктор! Ну наконец-то!»

Все как по команде повернули головы и посмотрели на появившегося в приемной доктора Гробового, из-за плеча которого робко выглядывала девица-секретарь. Несмотря на мрачную фамилию, Максим Гробовой производил впечатление нежного, субличного, так и не выросшего мальчика-отличника, любимого в семье и презираемого одноклассниками. Не понимая, что происходит, он нервно потирал тонкие пальцы и растерянно оглядывался по сторонам. В это время Рита встала, вынула из-за спины довольно большую деревянную доску с серебряной накладкой, на которой была выгравирована какая-то надпись, и двинулась к Гробовому.

– Доктор, – громко и торжественно заговорила она, – позвольте от имени нашей общины, ну и, конечно, от имени всех присутствующих вручить вам эту скромную грамоту в честь объявления вас, по версии квинсовской газеты «Аджаб-Сандап Пост», лучшим представителем русскоязычной общины Нью-Йорка. Своей подвижнической деятельностью, своим многолетним беззаветным служением людям и, наконец, достойным осуществлением своей высокой гуманной миссии вы заслужили не только уважение всей общины, но и стали одним из ее самых авторитетных лидеров...

По мере того, как Рита произносила эти слова, выражение лица Гробового менялось, делалось уверенным и значительным, и даже сама фигура врача прямо на глазах становилась больше и солидней. Он протянул руку, чтобы получить свою награду, а старушки уже начали подхалимски похлопывать в ладоши, но эта умильная сцена была внезапно нарушена хамскими действиями Феликса и Гали. Чуть позже, когда все кончилось, у меня возникло подозрение, что девица-секретарь была в сговоре с Ритой и компанией. Вместо того чтобы сразу же вызвать полицию, она, подобно Лотовой жене, окаменело торчала в дверях, ведущих во внутренний коридор, и не только не помогала своему доктору, а, наоборот, мешала ему ретироваться в спасительные глубины офиса. Нужно сказать, ему было чего пугаться.

– Да что же это?! – возопил Феликс так, что даже несгибаемая старушка в люрексе дрогнула и села на свое место. – Да как же это?! Доктор! У вас тут беременная женщина без денег, без страховки, ей плохо... Тебе же плохо,

Галка? – Галя тут же скорчила еще более жалостливую мину, и если бы я не знал, что ее торчащий огурцом живот – бутафория, то подумал бы, что она сейчас родит. – Вот, плохо ей, а вы не принимаете бедолагу! Ну сколько она отнимет вашего драгоценного времени? Ну пусть полчаса. Так что же, получаса у вас нет на человека? А как же служение людям, как же жертвенность? Где обычная человечность? Ох, горько мне! Вы ему, значит, грамоту, как лучшему представителю, как гуманисту, как врачу, наконец... Каковы же тогда худшие, если этот лучший? Бизнесмен в белом халате, вот кто он! А знаешь что, Галка, рожай прямо тут! Хрена ему, гаду!..

– Ну зачем же вы так? – укоризненно произнесла Рита, все еще держа в руках доску-грамоту. – Доктор Гробовой известен своей благотворительностью всему Нью-Йорку. Например, совсем недавно именно он организовал банкет, на котором и состоялись выборы лучшего представителя русскоязычной общины. Вы только представьте себе, банкет в шикарном ресторане «Герострат» на двести персон, включая главного редактора газеты «Аджаб-Сандал Пост» уважаемого Акама Нахамова. Это о чем-то да говорит! Кроме того, доктор неоднократно спонсировал различные мероприятия, которые позволили нашей общине самоопределиться и лучше понять, кто у нас...

– Па-а-а-звольте! – грубо перебил Риту Феликс. – Это как же, банкет на двести персон он закатить может, а бедную беременную женщину бесплатно принять не может?!

– А что вы хотели, – фальшиво улыбнулась Рита, – правила есть правила. Врачи не могут лечить даром. А то одну примет бесплатно, потом другую, третью, четвертую... Это что ж получится?

– Есть же врачебная этика, она не позволяет, чтобы бесплатно... – вдруг пискнул ободренный Ритой Гробовой. И тогда произошло нечто совершенно неожиданное. Тихая пожилая женщина, незаметно сидевшая где-то в углу, вдруг поднялась со стула, глаза ее недобро сверкнули, она подскочила к Рите, выхватила у нее доску и стала бить ею Гробового по плечам и голове.

– Этика, – кричала она, – врачебная этика, говоришь, не позволяет?! Какая такая этика?! Это я врач! Я сорок лет в сельской больнице акушеркой проработала! А ты – мне – про врачебную этику?! Да я... В любую погоду к роженице, по колено в грязи, почти без лекарств, за копеечную зарплату... Что ты, гад зажавшийся, можешь знать про врачебную этику?! Да я скорее домой в Курганскую область поеду, чем соглашусь жить в одном городе с таким лучшим представителем...

Потрясенный Гробовой не пытался увернуться от ударов, а только пятился, стараясь сдвинуть с места подпиравшую его секретаршу. На лицо его было страшно смотреть. Обстановка в приемной неуловимо изменилась. Бабка в люрексе скисла и уже не пыталась защищать доктора, а остальные поглядывали на возмущенную старушку-акушерку с нескрываемым одобрением. Я не заметил, в какой момент исчезли Феликс с Галей и очнулся только тогда, когда Рита, крепко ухватив меня за руку, потащила к выходу.

– Ну вот, – заключила она, заводя двигатель и трогая машину с места, – вот вам пример чистой хорошей работы. Заметьте, ни я, ни Феликс с Галей не сделали ничего, чтобы спровоцировать эту пожилую даму...

Поймав мой иронический взгляд, Рита усмехнулась.

– Поверьте, Пашенька, мы и предполагать не могли *такого* развития событий. И это тоже важно запомнить: в каждой ПВ обязательно есть элемент импровизации. Видите, как все просто? Но сколько удовольствия, не правда ли? Вот и думайте теперь, думайте! Я на вас серьезно рассчитываю, Паша. Очень серьезно...

Автомобиль рванулся вперед, как застоявшаяся лошадь. Сквозь легкий Ритин тон я ощущал исходящий от нее жесткий злой холодок и вспоминал выражение Ритино лица в те минуты, когда импульсивная акушерка хлестала Гробового по голове. Как хорошо, что я не вхожу в число людей, которых Рита стала бы проверять на вшивость. А что если вхожу?.. Нет, быть такого не может, я же не врач-хапуга. Я криво усмехнулся и поймал проницательный взгляд молодых глаз.

– Паша, – задумчиво поинтересовалась Рита, – а чего *вы* боитесь больше всего ?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ДО

Мысленное возвращение во времени похоже на объятия обманчиво мягких кошачьих лап: трудно предсказать, в какое мгновение в тебя вонзятся острые как иголки когти давно, казалось бы, забытого происшествия. И чем больше ты стараешься освободиться от них, тем больнее тебе становится... История моей семьи подошла к сегодняшнему дню, и роман мой больше не таил в себе никаких сюрпризов. Как выяснилось, сюрпризы я готовил себе сам, но как человек легкомысленный и увлеченный внешними радостями жизни, даже не подозревал об этом.

С детства мне не нравился крыловский трудяга-муравей, его короткая обывательская мудрость и неумение радоваться, а также присущая лавочникам мелочность и жестокость. Куда ближе и понятней была веселая, лишенная приземленной расчетливости стрекоза. Я и сейчас горжусь подаренными мне судьбой хрупкими крылышками негнибаемой стрекозиной беззаботности, которые несут меня по жизни, иногда заноса на недостижимый для благоразумных муравьев уровень.

Мои папа и мама вряд ли женились по любви. Оба вернулись с фронта, встретились в доме дяди Бори, брата бабки Лизы, и папа очень скоро, недели через две, сделал маме предложение. Теперь уже трудно сказать, почему папа выбрал именно ее, ведь тогда, в сорок пятом году, в Советском Союзе любой неубитый мужчина был на вес золота. Наверное, папа мог найти невесту и покрасивее, и побогаче. Но папа выбрал маму... Конечно, возникла взаимная

симпатия и, конечно, как и у всех вернувшихся с войны, у них было желание наконец-то пожить по-человечески. Достаточно ли этого для счастья? По крайней мере на случайной фотографии, сделанной спустя некоторое время, оба они выглядят влюбленными и довольными...

Жизнь начинала как-то налаживаться. Папа был человеком трудолюбивым и много работал, обеспечивая семье вполне хороший по тем временам достаток. Потом, один за другим, родились дети: мои сестра и брат. Бабка Лиза, то ли испытывая угрызения совести после гибели Левы, то ли просто став старше и ощутив потребность кого-то любить и о ком-то заботиться, пыталась ухаживать за внуками. Правда, мой папа бабке никогда не нравился: она хорошо усвоила наставления прадеда Вольфа о том, каковы должны быть потенциальные женихи. Хотя сама же и пренебрегла и наставлениями, и женихами, выйдя замуж за полунищего Абрама. Тем не менее всю последующую жизнь бабка Лиза ворчала, что ее Ася могла бы найти себе генерала, а не этого «шлепера»...

Но, так или иначе, мама была счастлива. Она стала женой и хозяйкой дома, ей больше не нужно было жить с родителями в грязной, с детства ненавистной халупе... Всю жизнь она была мнительной чистюлей и приучила всю семью к непривычной в Советском Союзе роскоши ежедневно принимать душ. Мама вообще жила в своей сказке, но это не была сказка о Золушке – простушке парвеню, чудом выбившейся из служанок в принцессы. Потому что мама не была простушкой с самого рождения. Ей казалось, что после долгого отсутствия она просто вернулась домой и теперь обустроивала доставшееся ей королевство по своему усмотрению. Это было очень аристократическое королевство, и маму совершенно не смущало, что брабантские кружева оказывались крашеной марлей, а придворные камер-дамы – неуклюжими ленивыми домработницами из приезжающих в Баку на заработки молоканских девиц. Она царила всерьез и с видимым удовольствием. Мальчишкой я не мог себе представить королевскую чету из андерсеновской «Принцессы на горошине» иначе, чем в образе моих родителей.

Но была еще Вера, мамина младшая сестра, которой повезло значительно меньше. К тому возрасту, когда ей как приличной еврейской девочке пора было выходить замуж, все вернувшиеся с войны женихи были давно разобраны теми, кто постарше или побойчее. К тому же, в отличие от миловидной и женственной мамы, Вера выросла чрезмерно худой и очень высокой неуклюжей дурнушкой. Но зато Вера была музыкальна. Первая в семье она получила высшее образование, прекрасно пела, любила веселые компании и, не имея ни малейшей склонности к аристократическому образу жизни, обладала характером куда более легким, чем мама, которой она люто завидовала. Ничего необычного в этих родственных отношениях, круто замешанных на любви и ненависти, не было. Вера страдала от одиночества и непривлекательности, а мама искренне сочувствовала и тихо торжествовала: ее семейное счастье на фоне не сложившейся судьбы младшей сестры казалось еще полнее.

Конечно, у Веры бывали мужчины, но ни один из них не годился в мужья и, главное, ни один не хотел брать на себя ответственность и

становиться отцом ее ребенка, пусть даже и внебрачного. Когда Вере исполнилось тридцать, и по тогдашним меркам она давно уже была старой девой, ей встретился Мирза-Али. Они познакомились в лесном санатории в Набрани под Баку, куда Вера приехала, чтобы отдохнуть и хоть немного набрать вес. Мирза-Али был окружен романтическим ореолом. Он был иранцем, членом социалистической партии «Тудэ», только что чудом избежал казни, к которой его приговорил одноклассник по военному училищу шах Ирана Реза Пехлеви, и получил убежище в Советском Союзе. Власти с ним носились, как всегда в СССР носились с иностранцами: безо всякой очереди предоставили квартиру, назначили завмагом обувного магазина и, наверное, осыпали бы благами и дальше, но... Мирза-Али категорически отказался принимать советское гражданство. Сталина к тому моменту почти два года как внесли в Мавзолей, и хотя еще не вынесли обратно, времена уже были относительно свободными. Потому Мирза-Али до самой смерти оставался лицом без подданства, дразня мелких местных начальников своей относительной независимостью.

Непонятно, чем могла его привлечь некрасивая Вера. Возможно, сыграло свою роль то, что Мирза-Али почти не понимал по-русски, и ему, окруженному веселой толпой вечно о чем-то галдящих людей, было тоскливо в этом санатории. Или, может быть, худая и носатая, она разительно отличалась от тех женщин, которых он знал в Иране, что внесло в его жизнь приятное разнообразие. Но сам он внес в ее жизнь куда больше. Вернувшись домой к родителям, Вера обнаружила, что беременна. И сразу же поняла: это тот единственный шанс, который предоставила ей неласковая судьба.

– Гевалт, – простонала ошеломленная бабка Лиза, когда Вера заявила ей, что собирается рожать. Трудно сказать, что именно сразило бабку – отсутствие законного мужа или то, что имеющийся в наличии незаконный – мусульманин. Лиза хорошо помнила, как однажды ее сестра Софа тоже опозорила приличную еврейскую семью – и чем это в конечном итоге кончилось.

– Никогда, – начала накаляться Лиза, – не будет такого, чтобы моя дочь родила, как кошка, от какого-то тутерганефа!.. Гевалт, ой, гевалт!

Дед Абрам мрачно поглядывал на Веру. Разговор состоялся за завтраком, и сваренная Лизой манная каша постепенно остывала в кастрюле. Однако, зная характер жены, он предпочитал не вмешиваться.

– Только попробуй мне родить! Тогда я тебе не мать, а ты мне не дочь, поняла?! А что скажут родственники? – при воспоминании о родственниках Лиза схватилась за голову. – Ох, зарезала ты меня, без ножа зарезала!

К тому моменту, когда страсти окончательно накалились, а каша, наоборот, уже остыла, Вера решительным движением надела кастрюльку себе на голову, одновременно оставляя все семейство без завтрака и давая понять, что ради своего счастья готова и не на такие жертвы. Дед Абрам всплеснул руками и сломался: ему было жаль испорченной манной каши. А бабка Лиза еще долго ругалась и проклинала всех присутствующих, а также отсутствующих участников разворачивавшейся драмы. По ее уверениям, давным-давно похороненный на далеком еврейском кладбище прадед Вульф

ворочался в могиле, тревожа остальных родственников, чьи могилы находились неподалеку.

К величайшему удивлению бабки с дедом Мирза-Али, узнав о беременности Веры, сообщил, что готов на ней жениться. Возможно, еще не освоившийся с местными обычаями иранский подданный полагал, что дед Абрам, узнав о позоре дочери, наточит кинжал и решит вопрос так, как его полагается решать оскорбленному восточному мужчине. А, может быть, не хотел портить отношения с советской властью, которую тоже могло бы обидеть такое безответственное отношение человека без подданства к простой советской женщине, пусть даже и еврейке.

Молодые расписались в загсе и поселились в халупе, под боком у бабки с дедом. Но их счастье длилось недолго. Вера оказалась никудышной женой и хозяйкой. В отличие от моей мамы, она не страдала излишней чистоплотностью. К моменту рождения Исмаила или, как его называли в семье, Исика, Мирза-Али уже достаточно близко познакомился и с дедом Абрамом, и с советской властью, чтобы перестать опасаться мести с их стороны. Поэтому в только что полученную квартиру он переехал один, оставив сына и жену на попечение бабки с дедом. Порой, соскучившись по неумелым Вериным ласкам, Мирза-Али навещал ее, приносил деньги и подарки сыну, был вежлив с бабкой Лизой и дедом Абрамом... В общем, для мусульманина и тутерганефа вел себя более или менее прилично.

Позднее, когда Исик исполнилось десять, Вера все-таки переехала к мужу, и они успели пожить год или два в его квартире не то вместе, не то порознь... Да, это была странная семейная жизнь. Но Вера пребывала в состоянии эйфории: ее старшая сестра больше не могла колоть ей глаза своим счастьем. Вера сама стала женой и, главное, матерью. В каком-то смысле она даже превзошла мою маму, потому что маленький Исик обладал более высоким социальным статусом. Разумеется, Исик был записан азербайджанцем. Многонациональный в ту пору Баку не был антисемитским городом, но все же представители коренной национальности в Советском Азербайджане могли претендовать на множество благ, которые были недоступны для евреев или армян. Вдобавок Исик был сыном иранского подданного, что в глазах Веры поднимало его, а вместе с ним и ее саму, на недосягаемую для моей мамы высоту.

Но главное было не это. Хорошая или плохая сложилась у Веры семья, настоящим или не настоящим оказался ее муж, но на Веру уже нельзя было смотреть сверху вниз, нельзя было снисходить к ней как к какой-нибудь прислуге. Потому что, по ее глубокому убеждению, сын Исик обладал всеми мыслимыми человеческими достоинствами и, конечно, его ждало великое будущее. Опровергнуть эту непоколебимую уверенность не посмел бы никто. Однажды Вера вместе с Исиком отправилась в гости к сестре. Если раньше ее обижало то, что моя мама относится к ней покровительственно, то теперь при встречах она ревниво, как медведица, следила за тем, чтобы ее Исик было оказано должное внимание. И в этот раз Вера не шла, а плыла, летела, неся на руках трехлетнего Исика. Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что у нее не самый лучший ребенок на свете!

Это был один из тех больших приемов, которые любила и умела устраивать моя мама. Такие праздники трудно себе представить нынешним людям, привыкшим к холодноватому ресторанному гостеприимству. И дело было не только в крахмальных скатертях и салфетках, серебряных приборах и вазах с цветами, не в специально приготовленных вручную шербетах и мороженом, не в пяти переменах блюд в полном соответствии с книгой о вкусной и здоровой пище. И даже не в том, что мама встречала гостей в своем знаменитом длинном панбархатном платье с разрезом. Дело было в самой атмосфере изысканного праздника, пропитанного запахами тонких закусок и еще более тонких духов, атмосфере предвкушения таинства, в которое посвящались только избранные – и только изредка. Столы, впрочем, накрывались кувертов на двадцать-тридцать.

Точно так же, как цирковой зритель не догадывается о том, какой тяжелой работой достигается легкий полет воздушных гимнастов, маминым гостям и в голову не могло прийти, что все это великосветское чудо создавалась на примусе в крохотной кухоньке из непонятно каким образом добытых папой продуктов. Всеми правдами и неправдами полученная родителями квартира была большой, в старом дореволюционном доме с огромным застекленным коридором-верандой, выходившим на не менее широкий балкон. Я успел пожить в этой квартире первые несколько лет своей жизни, прежде чем старый дом пошел на слом, и нас переселили в новостройку на краю города.

В общем, мамины приемы так же отличались от обеда в ресторане, как акт подлинной любви – от посещения публичного дома. Откуда у выросшей в полунущете дочки бабки Лизы взялись вкус, умение и шарм, достойные французской аристократки, сказать трудно. Вопросы крови, как известно, самые сложные вопросы в мире. А не избалованные суровой жизнью гости, даже самые важные и богатые из них, часто терялись, в равной степени не понимая, что следует делать с тремя видами вилок – и как такое вообще может существовать в стране победившего пролетариата.

Вера редко посещала мамины приемы. В старом, подаренном мамой и нелепо смотревшимся на ней платье, без косметики и украшений она чувствовала себя на них еще более несчастной, чем обычно. Но в этот раз она шла в гости, не испытывая ни малейших сомнений в том, что Исик – ее лучшее украшение, броня, предохраняющая ее от кривых взглядов, поднимающая над глупыми предрассудками, которыми пропитаны и сестра, и все ее гости. Золушка, танцевавшая на королевском балу со смотревшим на нее с обожанием принцем, вряд ли чувствовала себя большей избранницей судьбы, чем Вера, которая готовилась предъяснить избранному мамину обществу своего собственного принца...

То, что такая вечеринка – неподходящее место для трехлетнего ребенка, просто не приходило ей в голову. Исик не может оказаться не к месту и не вовремя! Покрепче прижав ребенка к костлявой груди, Вера ускорила шаг.

Вечер начался так же, как начинались все подобные вечера. Гости с рюмками и бокалами в руках, разбившись на группки, разговаривали стоя,

искоса бросая нетерпеливые взгляды на уже накрытые столы. Начитавшаяся французской и английской классики мама считала, что аперитив располагает гостей к светской беседе. Поэтому гости, боясь нарушить торжественность момента, не смели даже приближаться к столам. Мама в своем знаменитом платье, заколотом у горла бриллиантом, почти не отличимым от настоящего, как и положено хозяйке дома, переходила от одной группки гостей к другой. Все шло по плану. Мама была центром внимания. Многие из приглашенных мужчин, войдя в роль, галантно целовали ей руку и говорили комплименты, женщины криво улыбались и до смерти завидовали, скатерти отливали снежной голубизной, закуски и цветы были расставлены в должном порядке.

Перед тем как пригласить всех к столу, мама еще разок обошла его со всех сторон, поправила неровно лежащую салфетку, взглядом полководца окинула поле предстоящего пира, потом прислушалась к ровному гулу голосов и удовлетворенно наклонила голову. В эту минуту раздался звонок в дверь: пришли Вера с Исиком. И в мамином королевстве все сразу пошло не так: с трудом созданная атмосфера праздника была разрушена. Вера громко и бесцеремонно требовала, чтобы присутствующие оторвались от своей бессмысленной болтовни и обратили внимание на Исика, который исполнял все положенные юному гению трюки.

– А где у нас глазик? – сюсюкала Вера, одновременно грозно кося глазом на гостей. – А где у нас ушко?..

Мамины гости мялись, но вежливо хлопали. А потом подошло время финального номера, которым Вера особенно гордилась – вокальной партии, обещавшей миру еще один оперный талант. Недолго думая, Вера поставила Исика прямо на стол, смятая скатерть и опрокинув тарелочку с какой-то сложной маминой подливой. Страшное пятно разлилось не только по скатерти, но и по маминой душе. Мама окаменела. И только это позволило смущенному общим вниманием Исику вяло промямлить: «Яйца-яйца...» и после паузы тоненько закончить кодой: «Тра-та-та!»...

– Ну вот, слышали? – Вера победоносно оглядела гостей. И, заметив пятно, с непосредственностью варвара, гонящего в церковь табун, добавила:

– Ну да, тут ребенок немножко разлил, так что, это трагедия? Я вас умоляю! Ну вот, а теперь можно и закусить. Ася, почему ты не зовешь всех к столу? Я, например, очень голодная...

Чтобы не упасть, мама ухватилась руками за спинку стула. Все было безнадежно испорчено. Светский прием вдруг превратился в обычную вечеринку, на которой не могло быть должного почтения ни к ритуалам, ни к подаваемым блюдам. Испачканная скатерть лежала как свидетельство утраченной невинности, и заждавшиеся угощения гости совсем расслабились. Они с облегчением хватали с блюд и тарелок яства, уже не смущаясь ни их изысканностью, ни количеством ножей и вилок. В довершение всего маленький Исик, которого Вера посадила рядом с собой, по недогляду умудрился сбросить на пол тарелку из драгоценного маминого сервиза и окончательно испортить скатерть, вывалив на нее стоящую поблизости вазочку со шпротами. Мама была убеждена, что Вера намеренно позволила ему закончить разорение стола. Но это было уже не столь важно.

Невозможно было даже оценить размеры приключившегося несчастья. Мамин смешной и хрупкий, как разбитая Исиком тарелка, сказочный мир держался на наивном желании уйти как можно дальше от той девочки, которая в раннем детстве боялась провалиться в грязное отхожее ведро. Она была готова убить Веру за бесцеремонность, за неотесанность и глумление над ее трогательным мирком, но... непривычный для мамы новый статус Веры, да и само существование маленького Исика требовали к себе иного отношения, заставляли смотреть на многое по-другому. Когда в самом конце вечера мой папа взял Исика на руки и стал что-то ласково ему говорить, мама всерьез задумалась. До сей поры муж и двое детей казались ей достаточной гарантией того, что границы ее королевства надежно защищены. Но теперь... Теперь именно Исик показался ей страшной силой, способной уравнять ее с непутевой сестрой и, значит, вернуть обратно, в ненавистное ей прошлое.

К тому времени маме уже исполнилось тридцать шесть лет. В сегодняшней Америке ее ровесницы только подумывают о том, чтобы завести ребенка, но в пятьдесят девятом году прошлого века в Советском Союзе женщина маминого возраста считалась почти старухой. А папе, который был старше мамы на четырнадцать лет, перевалило за пятьдесят. Дети уже подросли, но что-то же нужно было противопоставить маленькому Исику и его бесцеремонной матери. Что-то или кого-то... Вскоре решение было принято, и почти год спустя на свет появился я. По семейной легенде из роддома домой меня несла на руках четырнадцатилетняя сестра, и теперь, желая ее поддразнить, я иногда спрашиваю, не роняла ли она меня по дороге. Уж больно неправильным я получился. Или, наоборот, слишком правильным?..

Сравнивая свое детство с детством сына-американца, я понимаю, что рос в очень скромных условиях. По приезду в Америку меня больше всего поразили не джинсы и колбаса, а продающийся повсюду апельсиновый сок. Когда-то, лет в десять, я с удивлением узнал, что из невиданных тогда сказочных фруктов апельсинов, оказывается, можно выжимать сок. Потому что кто-то из папиных друзей сделал мне неожиданный и невероятно роскошный подарок – маленькую консервную баночку с апельсиновым соком. Помню отдающий металлом горьковатый вкус этого сока, а еще помню свое отчаяние, когда баночка отчего-то вывернулась у меня из рук и упала, расплескивая по полу бледно-жёлтое содержимое. Чувство утраты было глубоким и острым. Впервые в жизни я тогда осознал, что, оказывается, ничего нельзя вернуть.

Но растили меня настоящим принцем. По крайней мере, Исику всегда казалось, что именно так принцы и живут – в светлом и чистом доме, где есть прислуга и много вкусной еды. Не знаю, как это могло случиться, но с моим рождением Вера вдруг утратила всякий интерес к сыну, как будто главным для нее был не сам ребенок, а стремление доказать сестре, что и она не хуже, что и у нее есть свое маленькое королевство... Исик рос заброшенным на руках у бабки Лизы, а потом часто и подолгу жил у нас. Как это всегда бывает, значительно позже, когда Исик стал взрослым и уже не нуждался ни в чьей опеке, в Вере опять проснулась лютая материнская любовь. Но это запоздалое

и неуместное проявление чувств у Исика ничего, кроме тягостного раздражения, не вызвало.

А в детстве мы росли вместе, и если я был принцем, то Исик чувствовал себя куда менее комфортно. Хотя моя мама всячески старалась не подчеркивать разницу между мной и Исиком, годам к семи-восми эту разницу я все же ощущал.

– Яша, – с величественным видом говорила мама папе, – сделай детям бутерброды с черной икрой.

Папа послушно делал нам с Исиком по бутерброду, но я видел, как мама, сама же стыдясь этого, сравнивала бутерброды и поворачивала тарелку так, чтобы мне достался тот, на котором икра была намазана гуще. Мама была щедрым человеком и не жалела икру, которая в те времена в Баку стоила недорого и была доступна всем желающим. Дело было в принципе: ведь ее сын – наследник сказочного королевства, а племянник – всего лишь дитя ее непутевой сестры.

Мы с Исиком дружили, но дружба эта была, конечно, неравной. И дело не только в том, что он был на четыре года старше. Куда менее изнеженный, чем я, он старался ухватить от жизни то, что мне доставалось само собой. А я, наивный и открытый, даже не понимал, почему Исик иногда бывает так жесток со мной. Но мы все равно дружили. Ссорились, мирились, но дружили. А потом произошло то, что я назвал «большим семейным скандалом». Даже его непосредственные участники не знали толком, с чего именно он начался, но по своей длительности, количеству вовлеченных в него лиц, числу интриг и предательств война Алой и Белой розы выглядела на его фоне обычной коммунальной ссорой из-за невымытого сортира. Мелкие склочники Ланкастеры и Йорки делили между собой всего лишь Англию. А моя мама отстаивала свое королевство, и все сэрры с пэрами могли катиться к чертовой матери, если им это не нравилось.

Дело в том, что однажды, когда мне было уже лет двенадцать, мама приревновала папу к Вере. Точнее, она решила, что Вера пыталась соблазнить папу. Имелись ли у нее для этого основания? Не знаю, не думаю. Но, как и полагается в любой мало-мальски серьезной гражданской войне, такие мелочи как факты не имели для мамы ни малейшего значения. Она была убеждена: коль скоро предпринятая Верой с помощью Исика атака на ее дом захлебнулась, а брешь удалось заделать мной, Вера не побрезгует разрушить сказочное королевство с другой стороны. Тем более что ее приходящий муж Мирза-Али вряд ли был способен помешать этому коварному замыслу. В мамином королевстве папа чаще всего играл роль статиста: не король, а так, принц-консорт. И, конечно же, Вера интуитивно выбрала самое слабое звено маминой защиты...

Мама посвятила в подробности ее предполагаемого преступного плана всех родственников и отказала Вере от дома. И это не обычный эвфемизм, скрывающий под собой яростные вопли и битье посуды. Мама именно отказала Вере от дома. В отличие от бабки Лизы и сестры, умеющих со вкусом поскандалить, мама была начисто лишена куража, необходимого для любой хорошей ссоры. Но скандал все равно разразился большой. Его результатом

стало вовлечение в семейные разборки и нас с Исиком: нам было категорически запрещено видаться друг с другом. И Вера, и ее сын должны были быть изгнаны из сознания и памяти всех жителей нашего королевства. Но мы, конечно же, продолжали общаться. Это было даже интересно, совсем как в шпионских романах. Мы с Исиком тайком встречались где-нибудь в центре города, ходили в кино, лазили на Девичью башню, пробирались в пользующийся дурной славой Нагорный парк... В общем, нам было хорошо. А вот папа чувствовал себя скверно.

– Ася, – успокаивающим голосом говорил он в минуты затишья, – ну зачем ты так? Что ты придумываешь?

– Я тебя ни в чем не виню, но она... Думаешь, ей нужен ты? Нет! Ей никто не нужен, она хочет разбить семью: раз у нее нет, так и у меня быть не должно... Дети! – трагическим голосом восклицала мама, – если вы посмеете общаться с этой... – Тут мама делала над собой усилие и выговаривала: – с этой тварью или ее сыном, то вы мне не дети!

«Дети» произносилось скорее для внесения должной патетической ноты: мои сестра и брат давно уже жили отдельно, так что обращалась она ко мне одному. «Дети» кивали головой, делали честные глаза и клятвенно обещали хранить верность королевскому дому и флагу. Но однажды случилось то, что когда-нибудь непременно должно было случиться: мама увидела нас с Исиком выходящими вместе из кинотеатра. Вот когда мне пришлось ощутить все тяготы гражданской войны на собственной шкуре. В доме разразилась жуткая гроза, прозвучали призывы к папе наказать меня как следует. Папе не хотелось этого делать, но тогда у мамы могли бы возникнуть сомнения в его собственной лояльности. Папа скривил лицо, раздул ноздри, изображая неукротимую ярость, и схватил меня за руку.

Я удивился и испугался. Меня редко наказывали: папа был человеком мягким и обычно ограничивался выговором. А тут... Но в самый последний момент, когда я уже сжался от предчувствия удара, что-то удержало его руку. Он замер, как будто прислушался к чему-то в себе, и его напускной гнев сменился искренней грустью. А занесенная ладонь бережно опустилась мне на голову.

– Да что же это я... – вдруг сказал папа и, обращаясь к маме, перешел на идиш. Родители всегда так делали, когда хотели, чтобы мы, дети, не поняли, о чем они говорят.

Мой папа был атеистом и коммунистом, его приняли в партию на фронте, в сорок третьем. Но до революции он успел поучиться в хедере и был знаком с Торой. Может быть, эта история про двух мальчиков – еврейского и мусульманского, – включая требование наказать сына, вызвала у него странные, неуместные для члена партии ассоциации. Потому что, какими бы смешными и невинными не выглядели наши с Исиком проделки, в них, так же как когда-то, в библейские времена, были круто замешаны любовь и страх, правда и ложь, надежда и отчаяние...

Моя память еще хранит прошлое, но за долгие годы жизни оно потускнело и съежилось, превратилось в едва различимую точку. Я ощущаю себя героем собственного романа, и мне становится не по себе при мысли о

бесконечно повторяющейся человеческой истории: все то, что почему-либо не было исполнено прежними поколениями, выпадает на долю следующих...

Давно уже нет ни мамы, ни папы, ни Веры, ни Мирзы-Али. Следы маминого сказочного королевства развеяны по миру, и я с сожалением думаю о том, что теперь уже некому запретить мне общаться с Исиком...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЛУТИЯ

Каждый раз, когда мне предстояло сделать что-то важное, я обращался к Единому, и каждый раз убеждался, что только мой господин способен услышать и понять Его волю. Мне, дерзкому, нужно было либо плутать в потемках собственных догадок, либо слепо следовать за господином. С некоторых пор мой пророческий дар совсем не помогал мне. Наоборот, как испуганная женщина в объятном пламенем шатре, он вносил только смятение в и без того спутанные мысли.

К тому времени, когда Первенец вырос и окреп, я давно уже похоронил в глубинах памяти случайно открытую мною тайну его рождения. Одно время я мучился, не решаясь спросить господина, известно ли ему, кто настоящая мать Первенца. Но потом понял, что такой вопрос может только огорчить его: либо разрушит его блаженное незнание, либо откроет ему, что я посвящен в страшную семейную тайну. И хотя господин давно привык ко мне и, как мне кажется, полюбил своего преданного слугу, за обладание таким знанием он мог не только убить, но и лишить своего расположения, что для меня было бы страшнее смерти. К тому же мысль о том, что по неосторожности я могу огорчить Первенца, приводила меня в трепет. Я привязался к Первенцу, полюбил его не меньше, чем самого господина. Ведь когда он начал делать свои первые шаги, именно я учил его науке мужества, умению держать меч, тайным боевым уловкам ассирских мастеров-хареджей.

Первенец радовал господина и прилежанием, и всем своим видом. С самого раннего возраста в нем чувствовался достойный наследник господина, его кровь и стать. По моим наблюдениям Первенец даже обещал превзойти господина мужеством и умением повелевать. Недаром в нем, кроме благородной крови господина, текла кровь дикого и независимого племени его матери. О мудрости же его судить было рано, ибо господин еще не допускал Первенца к делам, требующим проявления качеств, столь необходимых для решения сложных и запутанных вопросов, постоянно возникающих у нашего племени.

Первенец рос и, глядя на него, я представлял себе то великое и светлое время, когда он встанет во главе большого войска, и мы с ним расширим и укрепим границы наших владений. Кто знает, не падут ли стены Бабеллы – той самой Бабеллы, из которой пришлось бежать господину – под натиском воинов его сына.

Сегодня, когда все, о чем я рассказываю, давно уж случилось, мне стыдно признаваться звездам в своей глупости и наивности. Я совсем одряхлел и скоро уже перестану оставлять следы на песке, но теперь я знаю, что Единый никогда не ходит прямыми путями. Его воля требует от нас гибкости и умения видеть в темноте, свойственных большим кошкам, что ночами бродят по барханам, ища отбившихся от стада овец. Мой господин еще и потому величайший из живущих, что всегда умел отличать подлинное от наваждения, а важное от мелочей. Мне кажется, что иногда, как во времена бедствий, так и во времена благоденствия, он и сам не понимал, почему совершал тот или иной поступок. Но этот поступок всегда оказывался единственно верным, и воля Единого была выполнена.

Хотя воспитание Первенца занимало почти все мое время, я не мог не обратить внимание на то, как возвысилась в глазах нашего народа Шари. Теперь никто не мог позволить себе даже косога взгляда в ее сторону. Ведь она была матерью Первенца! Хайгайри же оставалась скромной служанкой, и только иногда я замечал в ее глазах, обращенных на Первенца, странный отблеск, заставлявший меня настораживаться. Пророческий дар мой, как я уже говорил, теперь только мешал понимать происходящее, но по мере того, как Первенец рос и становился красивее и мужественнее, а Шари царственней, я все больше терял покой. По ночам сон не шел ко мне, и я мучительно размышлял об том, что мне следует делать, забывая, что воля Единого проявляется во всем, и что все случившееся – часть какого-то плана, важность и величие которого, мне, дерзкому, постичь невозможно.

Наверное, господин просто не хотел думать о том, кто является матерью Первенца. Ему было важно передать наследие и завет, ибо, по словам господина, Единый объявил ему, что только от сына его сына начнется тот народ, которому уготовано великое предназначение. Но мне, старому глупому слуге, было страшно и за Первенца, и за господина, и даже за Шари, хотя звезды, которых я тревожу своим рассказом, знают, что никогда во мне не было приязни к ней. Это был мир моего господина – мир настолько же непонятный, насколько непостижим Единый, – и я боялся, что по моему недосмотру он может быть разрушен.

Шари относилась к Первенцу без любви. С тех пор как я в последний раз заглянул ночью в ее шатер, прошло много лет, но Шари, кажется, так и не смогла простить Первенцу того, что он не был ее сыном. И Первенец отвечал ей тем же, насколько это позволяли наши обычаи. Под взглядом отца он каждое утро целовал край ее куннета, но в глазах его при этом не было и тени любви. Правда, я не заметил, чтобы и к Хайгайри Первенец относился иначе, нежели как к служанке его матери.

Но прошло время, и эти мои волнения оказались позабытыми, потому что господин начал передавать Первенцу знание о Едином. То, как Первенец понимал его слова, сначала нравилось мне, а потом стало пугать.

– Есть два пути принятия Единого, два жизненных пути, – говорил господин, обращаясь к Первенцу. – Это путь Любви и путь Страха. По воле Единого мы сами можем выбирать свой путь. Но, выбрав единожды, обязаны до конца жизни с него не сворачивать.

– Что дает путь Любви? – спрашивал Первенец и недоверчиво улыбался.

– Путь Любви, – говорил господин, волнуясь и по давней привычке теребя пальцами бороду, – тяжел и опасен, ибо Единый, заботясь о нас, остается суровым и непреклонным. Он требует бесконечного проявления любви и послушания, свою же любовь дарит скупой, и только немногим посвященным до конца понятен этот путь. Любить Единого и следовать Его заветам трудно, но необходимо, потому что именно так ежеутренне заново создается мир. Идя путем Любви, ты несешь Его любовь людям. Не только ты, но и седьмое колено седьмого колена твоего будет нести Любовь. И никогда не будет иначе, как никогда не изменится этот мир.

– А что же тогда путь Страха? – спрашивал Первенец, недовольно нахмурившись.

– Путь Страха, сын мой, – отвечал господин с улыбкой, – это путь не мудреца, но воина. На этом пути ты тоже должен любить Единого, но еще больше бояться Его. Единый грозен и всемогущ, и ты несешь Его страх окружающим, и славить Его, призывая к повинению под угрозой бед и проклятий. И седьмое колено седьмого колена твоего будет нести Страх. И никогда не будет иначе, как никогда не изменится этот мир.

– Какой из путей выбрали вы, отец?

Первенец продолжал хмуриться и упрямо сжимал губы.

– Ни один из них, – отвечал ему господин, сдвинув брови. – Я еще ничего не выбрал. А какой из путей предпочел бы ты?

– Я?.. – Первенец недоверчиво посмотрел на отца, потом перевел взгляд на меня. – Я – воин, мой путь был бы путем Страха. Я часто наблюдал, как и вы, отец, и ты, Лутия, добиваетесь своего мечом, а не любовью. А мне не нравится быть среди тех, кто проигрывает... Вы говорите, отец, что Единый любит нас. Но можно ли любить слабых и подневольных? Разве мы любим наших рабов? А они нас? Как любить сильного, повелевающего тобой? Его можно бояться, можно ненавидеть, но любить... Нет, мне кажется, любить следует равного себе, иначе... Вот вы, отец, разве вы могли бы вместо матери полюбить какую-нибудь из наших служанок?

В одно мгновение я понял, что господин знает о том, чье чрево подарило ему Первенца. Мне показалось, что он сейчас ударит сына, но господин только слегка подвинулся, чтобы лучи заходящего солнца не падали ему на лицо и, преодолев себя, снова улыбнулся.

– Ты рассуждаешь слишком здраво для своих лет, – сказал он и пронзил меня косым яростным взглядом. Я хорошо знал этот взгляд. Господин был недоволен мною. Но ведь он сам приказал научить Первенца мужеству, и я с честью исполнил его волю. Воину мало толку от любви, а ее постоянная спутница жалость делает человека беззащитным там, где все решается только ударом меча.

Кончилось дело тем, что господин страшно наказал меня, удалив от Первенца и, как будто для того, чтобы усилить мою боль и отчаяние, призвал презренного раба, погрязшего в своих нечистых делишках Нахора-Авилота, чтобы тот продолжил обучение его сына. Чему, спрашивается, этот подлый человек мог научить мальчика? Умению хитрить и исподтишка наносить

удары? Мне опять приходилось сдерживаться, чтобы не пролить грязную кровь Нахора, когда он с победоносной ухмылкой проходил мимо. Кроме того, он теперь частенько пропадал в шатре Шари, очевидно, готовя какую-то новую подлость.

Даже сегодня, сидя под всепрощающими звездами, я не могу понять, почему в тот самый первый раз, когда Нахор бросился на нас в пустыне под Бабеллой, я не убил его, и почему Единый до сих пор не наказал меня за малодушие и слепоту. Когда я смотрю через плечо и вижу надоевших мне бородатых спорщиков, я думаю о том, что весь наш народ состоит из людей столь же далеких от праведной жизни, как и неблагородное йеменское племя Джухрум. Но Нахора следовало убить, потому что этот человек, как корыстный проводник верблюжьего каравана, заводил нас все дальше и дальше в пустыню бед и несчастий. Не знаю, что он говорил Первенцу, но вскоре тот стал смотреть на меня так, как никогда не смотрел сам господин – с презрением и брезгливостью. Подозреваю, что мерзавец Нахор поведал Первенцу о моей неспособности к любовным утехам. Мальчик находился как раз в том нежном возрасте, когда тайны женских услад кажутся важнее всего на свете, и поэтому моя особенность выглядела в его глазах пугающей и даже позорной.

И тут случилось то, чего никто из нас не мог ожидать. Шари, бесплодная как пустыня Шари вдруг понесла! Наш народ возрадовался – как и в тот раз, когда ему было объявлено о предстоящем появлении Первенца. Мне иногда кажется, что нашему народу нужен только повод, чтобы с громкими криками резать овец и устраивать пиры. Хотя за те годы, что я провел рядом с господином, у меня была возможность убедиться, что людям вообще нравится проливать кровь, будь то кровь овцы или другого человека. Мне, дерзкому, кажется, что так угодно Единому. Иначе он создал бы нас другими. И неутомимые спорщики у костров могут дочиста сжечь свои бороды, а вместе с ними и языки, доказывая друг другу ничего не значащие пустяки, но они не догадываются о главном.

Первенец, ни о чем не подозревая, нетерпеливо ожидал появления брата или сестры, Шари сделалась еще более надменной, а господин... В последний раз такое лицо я видел у него в тот день, когда Шари осталась в Мицраме. Время от времени он растерянно оглядывался, как будто ожидал ангелов Джуда, чтобы получить от них объяснение случившемуся. Но в этот раз ангелы так и не появились. Шари снова, как и перед рождением Первенца, закрылась в своем шатре, только теперь ей не было нужды притворяться. Нахор – единственный мужчина, которого она, на правах родственника, допускала к себе, – сновал из ее шатра в шатер господина и обратно, одновременно разнося слухи и сплетни по всему нашему стану.

Однажды ночью, когда костры уже погасли, и я, как обычно, улегся у входа в шатер господина, до меня дотронулась чья-то рука. Я поднял голову, и та же рука мгновенно закрыла мне рот, призывая к молчанию. По величине и мягкости ладони я сразу понял, что передо мной женщина. Такое уже случалось не раз. Молодые глупые женщины, привлеченные моим высоким положением слуги господина, иногда приходили ко мне по ночам, надеясь

таким образом добиться каких-нибудь выгод для себя или своей семьи. Обычно я прогонял их ударами пастушьего посоха. Но в этот раз обладательница маленькой руки повела себя иначе. С неожиданной для женщины силой она рывком подняла меня на ноги и, храня молчание, потащила подальше от шатров. Только когда мы удалились не менее чем на сотню шагов, и из-за туч вышла луна, я увидел, что за руку меня тянет служанка Хайгайри. Она беспокойно оглянулась и, придвинувшись ко мне так близко, что я различил исходящий от нее легкий запах хны, что-то зашептала мне на ухо.

За те годы, что Хайгайри провела с нами, она так толком и не научилась языку нашего народа. Поэтому я с трудом понял, что ей нужно. Первенцу, по словам Хайгайри, грозила страшная опасность. Теперь, когда Шари сама забеременела, чужой сын ей был не нужен, более того, опасен, потому что наследовал бы господину. Хайгайри была убеждена, что если Шари подарит господину сына, то судьба Первенца будет решена. Она уже видела, как Шари шепталась об этом с Нахором. Но стоило ей войти в шатер, как они отпрянули друг от друга, и в их помертвевших на мгновение глазах отразилась судьба, которую они готовили ее сыну, Первенцу господина.

По словам Хайгайри, лишь я один мог уберечь от беды Первенца, которого, и она знает это точно, люблю как собственного сына. Только Единому и звездам известно, как я растерялся тогда, и растерянность моя была недостойна мужчины. Я чувствовал, что Хайгайри права, что Первенца действительно могут убить, свалив это убийство на дикого зверя или не менее дикие племена, но не понимал, как мне уберечь его. Особенно теперь, когда господин доверил Первенца Нахору. Придвинувшись ко мне еще ближе, Хайгайри горячо зашептала, что знает только один верный способ спасти Первенца, но не может справиться сама, потому ей нужна помощь. Когда я попросил ее объяснить, чего же она хочет от меня, мне показалось, что я ослышался, не понял того ломаного языка, на котором говорила Хайгайри. Но она снова и снова повторяла одно и то же, и я онемел от ужаса. Мои чувства раздвоились как язык ядовитой змеи – и жалили столь же болезненно и беспощадно.

Я ничего не ответил Хайгайри, но, когда она исчезла, долго сидел, глядя на те же звезды, что и сегодня светят у меня над головой, и пытался понять, что же мне делать. Да, я очень привязался к Первенцу и действительно любил его, но господин оставался моим господином, и Шари была его женой, несмотря на все бедствия, которые она нам принесла. Дикое племя, у которого Шари когда-то купила Хайгайри, обладало кое-какими тайными знаниями, и Хайгайри клялась, что сможет приготовить питье, двух-трех капель которого достаточно, чтобы умертвить дитя, зародившееся в чреве Шари. Но поскольку Шари никогда не отпускает от себя служанок, и в особенности ее, Хайгайри, то ей нужен я, чтобы отправиться в пустыню, найти и принести сладкое на вкус растение аггура, необходимое для приготовления зелья.

Звезды уже начали бледнеть, совсем как сейчас, уступая место солнцу, а я все еще сидел, мучаясь и не понимая, как мне поступить. Вспомнились наставления господина, которые он давал Первенцу... Но я всего лишь старый

слуга, где мне разобраться в том, какой из путей следует выбрать. Что в этом случае будет путем Любви, а что путем Страха? Может быть, думалось мне, я все время оказываюсь посвященным в не предназначенные для моего ума дела, и поэтому Единый, которому я надоел своими неловкими поступками, хочет сейчас, чтобы я ушел в пустыню и никогда не возвращался? Но покинуть господина в такой момент было бы проявлением такой страшной неблагодарности, что даже подлый Нахор имел бы право отвернуться от меня.

Когда солнце начало припекать так, что перед моими глазами поплыл красный туман, я понял: есть еще один путь, самый простой. Поскольку Нахор является главным помощником Шари в заговоре против Первенца, то я должен убить его. Вряд ли Шари рискнет в таком деле довериться кому-нибудь еще, кроме этого негодяя. То, что после этого я должен буду умереть от руки своего господина, не волновало меня. Зачем жить, если умрешь, не исполнив своего предназначения?

Но выполнить задуманное оказалось совсем непросто. Нахор-Авилот, словно почувствовав опасность, все время держался около господина, отлично понимая, что в этом случае я не смогу выпустить его подлую кровь. Ибо нарушить запрет господина прямо у него на глазах значило бы нанести ему несмываемое оскорбление. Время шло, а у меня так ничего и не получилось. Я уже говорил, что в делах, которые нельзя решить мечом, теряю способность соображать и предсказывать будущее хотя бы на шаг вперед.

Шари, избалованная и надменная Шари, сама помогла мне. Наверное, тяжесть первой беременности помутила рассудок Шари, и обычная расчётливость изменила ей. Весь наш стан слышал, как она кричала, когда начались роды. Но кричала она не от боли и не от страха. Я первым прибежал на крики и увидел господина, стоявшего перед ее шатром. Все это время он относился к Шари как к сосуду с драгоценной жидкостью, и теперь эта жидкость могла расплескаться от ее гнева, лишая господина ребенка от любимой женщины. Потому что, несмотря ни на что, господин любил Шари великой любовью. А она требовала от господина невозможного: чтобы он лишил Первенца его права, давая возможность наследовать ее сыну. Мне показалось, что в отчаянии господин может убить и Шари, и ребенка – еще не родившегося, но уже ставшего причиной его горя. Но господин опустил голову и замер, как будто прислушиваясь к чему-то. Странная мысль пришла мне в голову: уж не просит ли господин Единого послать ему дочь? Ведь только появление на свет девочки могло бы избавить господина от необходимости делать ужасный выбор.

Вспоминая те давние времена, я думаю, что именно тогда Единый впервые пожелал, чтобы мой господин выбрал, наконец, один из двух путей принятия Его воли. Но господин колебался, ибо в нем, попеременно побеждая друг друга, уживались и Страх, и Любовь. Он все еще старался понять, что ему делать, когда из шатра Шари раздался крик новорожденного, и старая полуслепая служанка, помогавшая в родах, сообщила господину, что Шари принесла мальчика. Господин упал на колени, и я отвернулся, чтобы не видеть его лица.

Наступила тяжелая пора. Единый, недовольный господином, послал нам мор и засуху, и овцы наши сильно ослабели. Но сами мы ослабели еще больше. Чувствуя нашу слабость, соседи, которых мы обычно держали в страхе, подобно нумхат, злобным птицам мертвых, стали нападать на наших пастухов, захватывать пастбища и угонять наши стада. А господин все не мог сделать выбор, и время, по велению Единого, как будто остановилось. Казалось, даже воздух вокруг нас сгустился, сделался липким, как смола ливанского кедра, и все страшнее становилось нам, окружавшим господина. Потерял свою былую наглость подлый Нахор-Авилот, так и не вышла из шатра Шари. Растерянно бродил между нами Первенец, пытаюсь понять, что происходит. А забытый всеми Второй плакал навзрыд на руках у кормилиц. Я же, бедный слуга, метался, не зная, как помочь господину, вопрошая Единого и не слыша никакого ответа.

Но все проходит, все исчезает в бездне времени, и только звезды, которые сейчас, съеденные солнечными лучами, уже почти погасли, останутся неизменными и завтрашней ночью, и тогда, когда даже след от меня, дерзкого, сотрется, и превратятся в прах многие еще не рожденные. Эта мысль странным образом успокаивает меня, потому что все мои проступки кажутся мне теперь мелкими и ничего не значащими в глазах Единого. Но тогда, в одну из мучительно-жарких бессонных ночей я решил, что наступил момент, ради которого я жил, и Единый, выпустив из рук нить моей судьбы, позволит мне сделать то, ради чего я посвятил свою жизнь служению господину. Кто, если не я, сделает это? Кто, если не я, освободит господина от необходимости жестокого выбора? И пусть на мою голову падет гнев и презрение нашего народа!

Но что я мог знать о будущем и о собственном предназначении?

На следующий день, в самый разгар полуденной сиесты, когда никому не пришло бы в голову бродить под сжигающими лучами солнца, и даже овцы, сбившись в кучу, искали тени, я пробрался в шатер Первенца. Быстро скрутив ему руки и замотав лицо старой сомлой, я взвалил его на плечи и выскочил из шатра. Первенец был настолько ошеломлен моим появлением, что даже не подумал сопротивляться. Не таясь, решив убить любого, кто постарается помешать мне, никем не замеченный, я выбежал со своей ношей из сонного стана и после некоторого раздумья направился на юг. Там начиналась великая пустыня, и никто не стал бы разыскивать безумцев, решивших углубиться в нее.

Невзирая на палящее солнце, я бежал, пока стан окончательно не скрылся из глаз, и тогда пошел медленнее, с каждым шагом чувствуя, как все тяжелее становится груз на моих плечах. Но сам Первенец был легок, как новорожденный ягненок. Куда тяжелее был груз ответственности за самовольно принятое решение, за дальнейшую судьбу мальчика, за все, что могло случиться с оставленным мною господином. Не снимая с плеч Первенца, я все шел и шел, и только наступившая безлунная ночь заставила меня остановиться и аккуратно положить его на песок. К тому же запас воды, которую я прихватил с собой и которой время от времени поил Первенца, иссяк. До наступления нового дня нужно было найти источник. Но в этих

краях я оказался впервые и не знал, где искать воду. Что ж, решил я тогда, если Единому будет угодно, чтобы мы выжили, то мы ее найдем. А если нет, то я не оставлю Первенца, не дам ему умереть мучительной смертью. У меня хватит мужества исполнить свой долг до конца.

Первенец уже успел оправиться от удивления и страха. Он внимательно смотрел на меня, и мне приятно было видеть, что мои уроки не прошли даром. Он совсем не боялся и ждал, что я скажу. Я устроил ложе из старых пальмовых ветвей и накормил Первенца финиками, которых, в отличие от воды, у нас было много, стараясь за этими мелкими делами укрыться от его вопрошающего взгляда. Но Единый внезапно надоумил меня.

– Ты, – сказал я, не отводя глаз от его пылавшего лица, – только начал проходить науку мужества. Для того чтобы наследовать твоему отцу и встать во главе нашего народа, ты должен многое понять и многое совершить. Потрогай мою ладонь. Она огрубела от меча и посоха. Но для этого мне пришлось пройти через множество испытаний. Только так рука юнца становится рукой воина. Понятно ли я говорю?

– Понятно, – Первенец с сомнением покачал головой, – но значит ли это, что я должен выбрать путь Страх? Потому что это – путь мужчины, а не трусливой овцы... И еще скажи мне, Лутия, если знаешь, для чего Единому рабы? Разве Ему нужно пасти скот? Или носить воду? Не приятнее ли было бы Ему иметь дело с вольными людьми?

– Видишь ли, – сказал я смущенно, – я старый слуга, и не мне вмешиваться в дела моего господина. А тем более в дела Единого. Я учу тебя только самым простым вещам...

– Ты мне лжешь, Лутия! – возмущенно воскликнул Первенец, и я с удовольствием увидел впервые проявленный мальчиком гнев, достойный настоящего мужчины. – То, что ты говоришь, заставляет меня выбрать путь Страх. Я не наказываю тебя только потому, что сам не верю в путь Любви! Но это не умаляет твоей вины. Когда мы вернемся, я скажу отцу, чтобы он примерно наказал тебя за ложь.

Впервые мне пришлось опустить перед ним глаза. Я понял, что Первенец, оказавшийся без отцовской опеки, почувствовал себя моим полноправным господином. И от этого бремя ответственности становилось все больше, а груз на моих плечах тяжелее.

Солнце уже почти взошло, истаяли далекие звезды, которым я успел надоесть своими жалобами. Но даже сейчас меня охватывает дрожь, стоит только вспомнить тот день. В своем блаженном неведении Первенец не мог и помыслить, что у меня, презренного слуги его отца, хватило бы духу лишить его права первородства. Продлись наш разговор еще немного, и под взглядом Первенца моя решимость растаяла бы, как предрассветный туман под лучами солнца. Еще немного, и я отвел бы его обратно в стан отца. Но Единому было угодно, чтобы случилось иначе. Он послал мне недостающее мужество.

Краем глаза я заметил какое-то движение в темноте и успел вскочить на ноги. Я уже не был так быстр, как прежде, но успел-таки нанести несколько хороших ударов мечом, прежде чем на меня навалились и, набросив аркан на шею, лишили сознания. Но как только оно снова пробудилось во мне, я понял,

что крепко скручен и давно уже лежу лицом вниз на холодном, забившем глаза и рот песке. Но не моя судьба волновала меня. Я с ужасом представил себе, что могло случиться с Первенцем, красивым и стройным мальчиком, – и застонал, проклиная свое бессилие. Стон привлек внимание. Чьи-то руки схватили и подняли меня и, к своему удивлению, я увидел сидящего у кем-то разведенного костра Первенца, а вокруг него стояли люди в оборванной одежде пустынных жителей. Не похоже было, чтобы они собирались нанести ему какой-нибудь вред.

Я тут же убедился в своей правоте, потому что Первенец повернулся ко мне и засмеялся. Не буду скрывать, в этот момент ноги отказались повиноваться мне, и я упал на колени, благодаря Единого, не позволившего свершиться страшному злодейству. Но Первенец неверно понял мой порыв. Он улыбнулся еще шире и подал знак, чтобы меня подтащили поближе. Удивительно, но неведомые мне воины тут же исполнили приказание, хотя оно исходило от мальчишки, о первородстве которого эти люди не могли иметь никакого представления.

– Ну что, Лутия, – мстительно спросил Первенец, – не удался твой подлый план? Ты плохой слуга, Лутия. Авилот давно говорил мне об этом.

Тут выдержка изменила ему и, вскочив на ноги, Первенец закричал ломающим голосом: «Ты хотел украсть меня у отца? Молчи, я все знаю! Ты продался женщине, которая лживо называла себя моей матерью, и чей сын, последыш, пойдет теперь путем Любви. Ну что ж, пусть будет так! Путь Любви – путь слабых. Но ты успел научить меня мужеству, и потому я избираю путь Страху. В знак этого, перед ликом Единого, я приказываю удавить тебя, ибо так положено поступать с предателями!»

Он снова подал знак, и те же руки ухватили меня покрепче, а шею опять сдавила петля. Я всегда был готов к смерти, но все же почувствовал облегчение, когда в свете костра промелькнула знакомая фигурка, и я узнал Хайгайри, которая что-то кричала на незнакомом мне языке. Петля на шее ослабла, и меня, полуживого, отбросили в сторону. Я поднял голову и успел увидеть, как Хайгайри целует Первенца, а собравшиеся вокруг костра мужчины становятся перед ним на колени. Убедившись, что ему не будет причинено никакого вреда, я позволил себе снова потерять сознание.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ

В тот день Рита была на работе с раннего утра и сама открыла мне дверь. По непривычной суетливости, с которой она передвигалась из комнаты в комнату и перекладывала бумаги, в беспорядке валявшиеся на всех столах, я понял, что сегодня будет необычный день. И внутренне обрадовался, потому что те наброски сценария, которые я начал делать вчера, уже сегодня показались мне ни на что не годными, и я был бы рад случаю отложить работу. Заметив, что я слежу за ней, Рита усмехнулась, широко раскрыла глаза

и шутливо погрозила мне пальцем. Видимо, она осознала, что слишком суетится и, постояв минуту, решительно уселась в стоящее посреди комнаты кресло. Положила ногу на ногу и устала на свои туфли-лодочки.

– Согласитесь, Паша, удивительная это вещь – американская идеология. Сложив губы трубочкой, Рита вертела ступней, с интересом разглядывая туфлю.

– В принципе, общества без идеологии не существует, – продолжила она после небольшой паузы. – И вот по телевизору нам с вами рассказывают о том, что, оказывается, только туфли за пятьсот долларов могут сделать женщину счастливой. А автомобиль, стоящий столько же, сколько неплохой дом, – единственное, ради чего должен жить мужчина. В общем, работай, аккуратно плати налоги и долги по кредитным карточкам, и будет тебе счастье. А счастьем как раз и называется обладание всем тем, что нам показали на экране вчера – или покажут завтра. Если вслушаться повнимательнее в декларируемые нашим обществом ценности, то получается, что даже апостол Петр впускает душу в рай только после тщательного изучения ее кредитной истории. По сути агентства, собирающие кредитную информацию, заменяют на территории США суд Божий. Ну а дальше все зависит от веры. Кому-то банкротство отпускается через десять лет пребывания в кредитном аду, а кому-то гореть там целую вечность... Но вот ведь какая штука: известно, что коли не согрешишь, то и не покаешься. Иными словами, какая может быть кредитная история, если ничего не брать в кредит? Вот и получается, что люди всю свою жизнь только и делают, что сначала исправно влезают в долги, а потом столь же исправно с ними рассчитываются.

И если вы, Паша, скажете мне, что все это не продуманная и тщательно распланированная идеологическая система, то я усомнюсь в ваших интеллектуальных способностях... Но, знаете, что касается туфель, то они не так уж неправы. Действительно, славная обувь. Особенно, если учесть, что мне приходилось носить и другую...

Рита искоса посмотрела на меня и досадливо взмахнула рукой.

– Ах, не считайте меня легкомысленной! – по-девичьи воскликнула она. – Сейчас вы поймете, что я не просто болтаю, а подвожу вас к тому, чем нам здесь приходится заниматься. Согласитесь, что система создания и проверки кредитной истории – это ведь тоже «проверка на вшивость». Но я хотела рассказать вам совсем другую историю.

Рита помолчала, провела пальцем по ранту туфельки и удовлетворенно вздохнула.

– Мелочи, мой друг Пашенька, самые незначительные мелочи, если им уделить должное внимание, иногда приводят нас к совершенно удивительным открытиям.

Рита опустила ногу и с сожалением отвела глаза от туфель.

– Только вдумайтесь, и вы поймете, что двигателем прогресса является отнюдь не реклама. Хотя о рекламе у нас с вами еще пойдет речь. Причем именно сегодня, потому что нынче пятница, мы с вами отправляемся на бал, и

я прошу предупредить жену, что вы вернетесь домой довольно поздно. Надеюсь, ваша жена не очень ревнива.

Я не успел удивиться и ответить, что жена у меня, увы, чрезвычайно ревнива, как входная дверь распахнулась, и в офис влетел Феликс. Он всегда появлялся стремительно, оглушительно хлопая дверьми и по-медвежьки рывкая что-то вместо приветствия. Странно было слышать этот низкий тяжелый бас, исходящий из его тощей груди. Прорывчав «здорово всем!» так, что оконное стекло нервно звякнуло, Феликс резким движением придвинул к себе свободное кресло, бухнулся в него и, потирая руки, расхохотался. Стакан на столе отозвался на его смех глухим дребезжанием.

– Вы не поверите, – произнес, наконец, Феликс и хитро прищурился, – такое просто невозможно придумать. Павел, учитесь у жизни! Вот где ПВ так ПВ! Гениально! Слов нет! Просто и с удивительным вкусом! Вот это, я понимаю, проверочка!

Рита недовольно скривилась и тут же потребовала от Феликса не мучить нас и не говорить загадками, а рассказать, в чем дело.

– А дело вот в чем, – Феликс сладко улыбнулся. – Значит, пару часов назад в автобусе, следующем по маршруту «Би-три» в Бруклине, ехала некая старушка по имени Сюзанна Томсон. Ну, ехала и ехала, да вот беда, страдает миссис Томсон такой неприятной и где-то даже неприличной болезнью, как метеоризм. Ну и, натурально, непосредственно в автобусе случился с ней приступ флатуленции. То есть, говоря обычным языком, газы, бродящие в кишечнике миссис Томсон, неожиданно вырвались наружу, и она громко пукнула. Находящийся в том же автобусе вооруженный полицейский в гражданском принял данную прискорбную флатуленцию за применение боевого оружия и тут же открыл прицельный огонь на поражение. В результате трое пассажиров убито, восемь ранено. Причем, что удивительно, сама мадам Томсон каким-то чудом осталась жива и невредима. По свидетельству очевидцев она еще несколько раз, теперь уже от испуга, оглушительно испортила воздух, после чего полицейский отбросил от себя пистолет, упал на пол автобуса и закричал, что сдается. Пресса сообщает, что мэр города уже принес свои соболезнования семьям погибших и отдал распоряжение о награждении бдительного копа орденом «Пурпурное сердце» за храбрость и высокий профессионализм... Вот это «проверка на вшивость»! Эх, нам такого в жизни не спланировать!

– Вот вам пицца для размышлений, – сказала мне Рита. – Но сегодня вечером вы увидите другую ПВ, несколько иного размаха.

Я хотел было задать Рите давно занимавший меня вопрос, но не успел: как всегда, Рита угадала мои мысли. По правде говоря, я уже стал привыкать ко многим странностям своих работодателей. Временами мне казалось, что я давно знаком и с Ритой, и с Феликсом, только никак не мог вспомнить, где и когда их видел.

– Вы, Паша, наверное, хотите спросить, почему мы потратили столько времени и сил на столь незначительную по результату проверку доктора Гробового? Все очень просто. Не забывайте, что мы работаем не сами по себе, а для заказчика. Зачем ему это нужно – не наше с вами дело. Заказчику, как

говорится, виднее. Кроме того, разве вы сами не почувствовали некоторое удовлетворение от спектакля, невольным зрителем которого тогда оказались? Ну да ладно, сегодня вы увидите иной масштаб и иное направление проверки. Потому что мы с вами отправляемся на бал, посвященный десятой годовщине образования знаменитой в русском Нью-Йорке торговой компании «Златоуст».

От неожиданности я подскочил в кресле. Дело в том, что даже в обществе Риты я не мог появиться на этом балу без приглашения. Я знал эту компанию, знал ее владельца и многих других бизнесменов, которые наверняка будут присутствовать на балу. Кроме того, в таких случаях владелец компании, стремясь вызвать широкий общественный резонанс, приглашал на свои торжества еще и прессу, то есть моих бывших коллег...

– Да не волнуйтесь вы так, Пашенька! – Рита понимающе покачала головой. – Мы вас так загримирруем, что жена родная не узнает. Кроме того, вы будете представлены как очень богатый человек, так что если кто и станет приглядываться к вам, то не в лицо будет смотреть, а постарается заглянуть в бумажник. В остальном же, ручаюсь, вам будет крайне полезно принять участие в предстоящей ПВ. Там будут сливки нашего общества... русскоязычного, разумеется.

Рита окинула меня проницательным взглядом.

– К тому же что-то подсказывает мне, что вы получите большое удовольствие от увиденного. Сочтете, так сказать, полезное с приятным.

Рита не ошиблась. Впрочем, мне начинало казаться, что она вообще никогда не ошибается. В специально заказанном роскошном лимузине мы с ней подъехали к «Герострату» – ресторации, которая, согласно представлениям ее владельцев о роскоши, должна была поражать воображение посетителя и внушать ему, что он оказался в солидном заведении. Здесь любили проводить банкеты и, как теперь говорят, корпоративы различные бизнесы и общественные организации. Здесь же с особой помпой праздновались дни рождений и бракосочетания.

Мы с Ритой неторопливо вышли из машины, и первый, кого я увидел у входа в ресторан, был владелец компании «Златоуст» Георг Пигмеев-Златоуст. По-видимому, он ожидал прибытия наиболее значимых для него гостей. Рита явно относилась к их числу, потому что Пигмеев тут же изобразил улыбку на своем жирном лице с выпяченной влажной нижней губой, и кинулся целовать ей руку. От такого галантного жеста Рита уклонилась, поспешно ухватив меня за локоть, но тут же улыбнулась Пигмееву в ответ и сообщила, что бесконечно рада снова встретиться с работниками столь замечательной компании, известной не только своими достижениями в коммерции, но и вкладом в общественную жизнь русскоязычной общины города; а также лично с самим Георгом – человеком, несущим наряду с колбасой и карбонатом подлинную культуру в массы русскоязычных американцев. Мне показалось, что Рита переигрывает, но Пигмеев принял ее затейливые выражения за чистую монету, скромно покивал головой и попросил представить ее спутника. На секунду мне стало не по себе: грим действительно был замечательный, я сам себя не узнавал в

нем; но все же, пожимая руку Пигмееву, почувствовал, что моя ладонь стала предательски мокрой от пота. Пигмеев виду не подал, но я заметил, как после рукопожатия он украдкой отер руку о брюки.

– Познакомьтесь, Георг, – светским тоном процедила Рита, – это господин Блум из Дублина. Занимается рекламой.

И незаметно подмигнула мне. К счастью, Пигмеев не был знаком с творчеством Джойса и подвоха не заметил.

Пообещав переговорить с Пигмеевым чуть позже, Рита уверенно повела меня в банкетный зал. Хотя народ все еще толпился в вестибюле вокруг стола, за которым стояла симпатичная деваха в платье с глубоким, как Марианская впадина, декольте. Она бойко раздавала какие-то бутылочки с яркой этикеткой. Народ активно потреблял халявное питье, так что наше с Ритой появление осталось почти незамеченным. Это помогло мне освоиться с новой ролью, и уже без трепета я ловил на себе короткие равнодушные взгляды нескольких бывших коллег. Перед невысокой эстрадой в свете прожекторов стоял известный всему русскоязычному Нью-Йорку конферансье и поэт Михаил Проскользон и, запрокинув голову, пил из той самой бутылочки. Неподалеку, приобняв за плечи какую-то девицу, сидел известнейший радио- и тележурналист Виктор Мотороллеров. А сбоку, помахивая зажатой в руке вилкой, что-то рассказывал соседу знаток каббалы и общественный деятель Йош Сундуккеев. На другом конце зала, подальше от Мотороллерова, царственно восседала народная сказительница и местная интеллектуалка Виолетта Агройсен... В общем, обычная для таких мест преуспевающая бизнес-публика. Ничего не изменилось с тех пор, как я покинул *этот* мирок. Да и наивно было бы предполагать, что здесь что-то могло измениться. Зато я почувствовал, как сильно изменился за эти годы сам...

В зале стояла многообещающая полутьма, народу было много, веселье только-только начинало разгораться. Мы с Ритой уселись за небольшой столик в нише под бронзовым бра в форме подозрительно знакомой руки с факелом. Видимо у посетителей должно было сложиться впечатление, что в стене замурована Статуя Свободы, а факел освещает дорогу хозяину заведения и его гостям. Мне же пришло в голову, из всех американских свобод он использовал только те, которые считал полезными для себя, напрочь игнорируя все остальные.

– Угощайтесь, господин Блум, – иронично сказала Рита, – угощайтесь и слушайте. Нам с вами досталось замечательное местечко: все видно, все слышно, а до нас никому и дела нет.

Я оглядел уставленный изысканными закусками стол и пододвинул к себе блюдо с семгой: после длинного дня я внезапно почувствовал волчий аппетит. Это столик в нише был выбран Ритой не случайно, и я догадывался, что наш ужин может оказаться хоть и обильным, но непродолжительным.

– Правильно, – одобрительно заметила Рита, – ешьте, Паша, не стесняйтесь. Только ничего не пейте, кроме воды. А я пока расскажу о гостях, иначе вам будет не так интересно. Ну, некоторых вы знаете. В частности, ваших бывших коллег я вам, конечно, представлять не буду. Только кое-что освежу в памяти. А вы, пережевывая пищу, попробуйте войти в роль

приехавшего по рекламным делам из Дублина господина Блума и посмотреть на всех отстраненным взглядом.

Сама Рита к еде даже не прикоснулась. Она внезапно посерьезнела, как будто собиралась с мыслями, и ее глаза уже не блестели так живо и ярко, как минуту назад.

– Так вот, – начала Рита, – важных гостей с их женами, любовницами, а также неизвестно откуда взявшимися девицами тут больше сотни, так что не стоит и пытаться перечислить всех. Но наиболее заметных я вам все же назову.

Рита сделала паузу, разглядывая собравшихся, и глаза ее стали совсем грустными.

– Итак, – продолжила Рита, – позвольте вам представить доктора Евсея Кунштюкова. Вот он, видите, за тем столом, с густыми черными бровями. Единственный, который не улыбается. Он никогда не улыбается, и его можно понять. Когда-то в Советском Союзе его выгнали с третьего курса медицинского института. С тех пор он возненавидел и медиков, и официальную медицину. Поэтому занимается медициной нетрадиционной и, пользуясь недостаточно четкими определениями в законах, принимает пациентов в офисе, который открыл для него Пигмеев. Утверждает, что способен излечить рак в любой стадии. И, знаете, отчаявшиеся люди к нему ходят...

Рита внимательно посмотрела на меня, и мне показалось, что она прочесывает мои мысли в поисках одной-единственной, ей необходимой.

– Позвольте, – спросил я, чтобы отвлечься от этого неприятного ощущения, – а Пигмеев-то что?..

– А что Пигмеев? – Рита скривила рот. – Пигмеев, разумеется, знает, но он ни при чем. Он же никого не обманывает, верно?

Ну что ж, пойдем дальше. Тут немного веселее. Этого вы, пожалуй, узнали. Того самого, который не умеет пользоваться салфеткой, темненького такого. Да-да, это он и есть – главный редактор газеты «Аджаб-Сандал Пост» Акам Нахамов. Кстати, газета сама по себе уникальна: печатный орган одной этнической группы, публикующийся на языке другой, а название, как вы заметили, при этом вообще английское. Впрочем, Нахамов свое дело знает, как-никак всю жизнь имел дело с газетами...

– Ну да, – не удержался я, хорошо знакомый с этим деятелем культуры, – как же, еще в родном Андижане он в них много лет на базаре персики для покупателей заворачивал.

– А вы, Паша, злой, – удовлетворенно заметила Рита. – Но продолжим. Вон там, на одном из лучших мест сидит владелец этого ресторана, большой друг детей и животных господин Матвей Игогоев. Много лет он возглавлял различные благотворительные организации, потом, как водится, немного посидел в тюрьме... Но, в отличие от вас, Паша, умудрился заработать не один миллион долларов на любви американцев к сиротам и брошенным животным. Теперь вот обзавелся рестораном. Рядом с ним тоже бизнесмен – и тоже филантроп, – покровитель искусств Максимилиан Гурнешт. Ну, тут ничего особенно интересного. Открою вам, Пашенька, секрет: биографии большей

части местных бизнесменов просто до смешного похожи друг на друга. И сами они до смешного одинаковы. Им всем не хватает почестей и славы, их обуравает непреодолимое желание остаться в истории человечества не с помощью заработанных на протухшем мясе или попросту украденных миллионов, а благодаря своим успехам в общественной и культурной жизни. Сколько их тут сейчас закусывает и выпивает, выпивает и закусывает в окружении жен, любовниц и просто девиц без числа... Посмотрите на них: вон там – Жукман, Прельштейн, а чуть дальше – Демагогишвили, Подляков, Сосоев... Эх, вот где для нас поле непаханное, право слово!

Рита подперла голову рукой и мечтательно прикрыла глаза. После рыбы мне захотелось пива, и я с вождением посмотрел на стоящие в центре стола бутылки со спиртным. Но Рита не дремала.

– Только воду, Паша, только воду, потом сами же благодарить будете. Ну что ж, продолжим. Хочу обратить ваше внимание на гвоздь нашей сегодняшней программы Василия Сосикина. Но с ним вы, кажется, знакомы.

Я действительно знал Сосикина. Когда-то мы сталкивались на радио, где Сосикин вел свою программу, посвященную правильному питанию. Он владел магазинчиком «Сила Фарта», в котором продавал какой-то таинственный окончательный продукт «Эс», выделенный им особым путем из натуральных продуктов. Запомнился он мне тем, что однажды провел в эфире викторину, в которой предложил угадать название планеты нашей солнечной системы из шести букв. Никто из слушателей не угадал. Да и не мог бы угадать, потому что в конце Сосикин объявил, что это Солнце.

– Послушайте, – сказал я ему тогда, – но ведь Солнце не планета, а звезда! Зачем же проводить викторину по астрономии, да еще на радио, если вы сами не знаете элементарных вещей?

– Ну-у, – недоверчиво протянул маленький толстенький Сосикин, – как же не планета, когда оно такое большое, а звезды вон какие маленькие. Так что ваше утверждение нуждается в доказательствах...

– Вы еще скажите, что Земля – центр Вселенной! – уже не сдерживаясь, закричал я. – Солнце – звезда, и никаких доказательств тут не требуется!

– Господи, – по-бабьи запричитал Сосикин, – ну какой же вы нервный, прямо слово сказать нельзя! Так культурные люди не спорят...

Рита слегка подтолкнула меня под локоть, потому что в этот момент эстрада ярко осветилась, и Проскользон вместе со знаменитой радиоведущей Джульеттой Марвихер открыли вечер. Они заливисто хохотали над собственными шутками и каламбурились, составляя стишок со словом «попа». Потом на сцену вышел сам Георг Пигмеев-Златоуст. Он напомнил присутствующим об этапах славного пути, который прошла его компания за последние десять лет...

– Пашенька, – Рита дернула меня за рукав, – вы, кажется, отвлеклись, а ведь скоро начнется самое интересное, ради чего я вас и пригласила. А ваши язвительные комментарии могут кого-нибудь навести на мысль, что вы просто-напросто завистник.

Она взмахнула рукой, пресекая мои возражения, и тут же улыбнулась:

– Паша, помните – желчь, конечно, не кровь, но проливать ее попусту все же не стоит...

На эстраде Пигмеев кое-как закончил свою речь и спустился в зал. А вместо него снова появился Проскользон.

– А сейчас, дорогие друзья, – сладким голосом пропел он, – у нас для вас ба-а-льшой сюрприз! Сегодня у нас в гостях иллюзионист, престижи... предисти...

Проскользон запнулся: слово явно ему не давалось; но тут же вывернулся:

– В общем, у нас в гостях фокусник и гипнотизер Феликс Гамельнский! Маэстро, прошу!

Я не очень удивился, когда на эстраду с поклонами вышел Феликс, облаченный в черный фрак. Фрак скрадывал его худобу, а крахмальная манишка, сияя в лучах света, оттеняла черные пронзительные глаза. Никогда не замечал, что у Феликса такие глаза... Может быть, это не Феликс? Да нет, вроде бы, он. Но вот глаза... Я смотрел на него не отрываясь, и вдруг его глаза как будто придвинулись ко мне вплотную, а в глубине огромных зрачков что-то призывно зашевелилось...

– Пашенька, – раздался голос Риты, – вы в глаза ему не смотрите, хорошо? Хотя вы и не пили спиртного, но все же... Лучше обратите внимание на зал, это будет интересно.

Я с трудом отвел взгляд от Феликса и повернулся к зрителям. Даже в полумраке было видно, что все сидящие за столиками прекратили веселье и напряженно смотрят на Феликса. Бросилась в глаза фигура Сундуккеева, который, чуть привстав, тыкал воздух перед собой вилкой с наколотой на нее котлетой по-киевски. Прямо за ним в полутьме белела седая борода открывшего рот Мотороллерова, а еще дальше какая-то девица с эффектными выпуклостями громко икала и никак не могла остановиться.

– Ну-с, – после томительной паузы со значением произнес Феликс, – приступим, пожалуй. Для начала что-нибудь легонькое. Сегодня мы будем играть в детский садик, и вашим воспитателем буду я. Итак, проверим, насколько хорошие и послушные у нас детки!

Бас Феликса с каждой минутой становился все тяжелее и обволакивал, спутывал по рукам и ногам, лишал воли, от него кружилась голова... Я слышал, что бывают очень сильные гипнотизеры, но со мной такое происходило впервые.

– Паша, – тревожно зашептала Рита, – Паша, очнитесь! Не думала я, что вы такой гипнабельный... Возьмите себя в руки немедленно!

Почти насильно Рита сунула мне в руку бокал с ледяной газированной водой, я отхлебнул из него, потом отхлебнул еще раз – и стал приходить в себя. В зале к этому моменту не было ни одного человека, включая официантов, который бы не смотрел на Феликса. Сундуккеев, устав махать вилкой, опустил обратно на стул, Мотороллеров закрыл рот, икающая девица, наконец, замолчала... У меня появилось ощущение, что зал как будто причесали огромным гребнем: все стали неотличимо похожими друг на друга – одного роста, возраста, пола...

– Итак, чем бы, детки, вас порадовать? Ну, денег у вас, что называется, куры не клюют, про одежду и говорить нечего – одеваетесь вы в Париже и Риме, от лучших кутюрье. Так что и не знаю даже... А-а, придумал! Кто из детишек хочет нам рассказать стишок или сказку? Ну? Есть такие?

Единообразие зала было нарушено гвоздем вечера Сосикиным. Он неуверенно поднялся на толстеньких ножках и, чуть отклоняясь всем своим рыхлым тельцем назад, засеменял к эстраде.

– А-а, так это Вася! – Феликс поманил Сосикина рукой, и тот покорно взобрался на возвышение. – Молодец! Ну что, Вася, будешь стишок читать или...

– Я лучше прозу, – пискнул Сосикин. – Можно?

– Можно, – разрешил Феликс, – валяй, Вася, прозу. Но только громко и обязательно с выражением...

– Да, конечно, – Сосикин послушно склонил голову набок и громко, как юный пионер, объявил: – Проза жизни! Вот, вижу, тут сидят многие... ну, которые мои клиенты. Они покупают мой оконечный продукт «Эс» и очень даже довольные, потом еще приходят. Вон жена нашего Пигмеева, мадам Матрена Колобахина, раз пять уже прибежала за добавкой. Она, правда, все старается бесплатно получить... И остальные, вот хоть мадам Агройсен или господин Игогоев с женой. И все знакомые его, ну как бы это сказать... девушки... Потом, кто еще? Ну, всех и не упомнишь. Опять-таки, на каждом таком банкете, как сегодня, бесплатно раздаем ящичков десять-пятнадцать. А в каждом ящичке по двенадцать бутылок. Так что сами посчитайте... Готовить продукт не успеваю. Потому что, конечно, там столько полезных веществ, витамины, то да се...

– Ты про прозу жизни не забудь, Васенька, – громоподобным шепотом напомнил Сосикину Феликс. – А то – отвлекаешься.

– Да, – послушно согласился Сосикин, – отвлекаюсь. А проза жизни простая, дамы и господа! Раз уж мы тут в детском садике друзья навек, то желаю я открыть секрет своего оконечного продукта «Эс». Чтобы, значит, все знали... Можно? – робко спросил он у Феликса.

– А валяй, – покладисто согласился тот.

– Я – жулик, и то, что вы все пьете, вовсе не полный витаминов и минералов напиток, который я назвал «оконечный Эс», а просто разбавленный водой из-под крана мед, у которого вышел срок годности. Вот... Так что обманывал я вас, друзья дорогие! Такая вот проза жизни у нас получается...

К моему удивлению, в ответ на это заявление зал не выразил ни малейшего протеста. Наоборот, многие бизнесмены, не сговариваясь, одобрительно покачали головами, а кто-то даже засмеялся. От оцепенения, охватившего публику при появлении Феликса, не осталось и следа.

– Ну и что, дамы и господа, нам теперь с ним делать? – оглядывая зал, поинтересовался Феликс. – Ведь Васенька вот уж несколько лет как обманывает не только вас, но и налоговое управление Соединенных Штатов. Да и вообще, он, канашка, всех обманывает. Даже жену. А это, сами понимаете, нехорошо... Так что, накажем его?

Феликс сделал паузу и еще раз внимательно оглядел сидящих за столиками. Под его взглядом кто-то из присутствующих заулыбался еще больше, предвкушая занятную сценку, кто-то опустил голову, а кто-то робко захлопал.

– Что ж, – Феликс удовлетворенно наклонил голову, – значит, будем наказывать. Только тут вот такая штука – обманывал-то он вас, значит, и наказывать его должны вы.

Я не заметил, как в руках у Феликса оказался огромный топор. Его отполированная как зеркало хищная сталь отбрасывала в зал легкомысленные зайчики. Это напомнило мне о том, что все происходящее – всего лишь организованная Ритой «проверка на вшивость». Я облегченно вздохнул.

– Ну-с, – Феликс попробовал лезвие ногтем, и по затихшему залу прошел легкий хрустальный звон, – есть желающие?..

– Ну да, – раздался откуда-то сбоку недоверчивый женский голос, – это ж потом за убийство на пожизненный срок идти...

– Нет, мадам! – взвился Феликс. – Вы натурально неправы! Никто никогда не узнает, как погиб геройский малыш Вася Сосикин! Клятвенно обещаю вам! И сам он никому об этом не расскажет! Верно, Вася? Вот! Ну так что, есть желающие? Повторяю, никто никогда не узнает о том, что произойдет сейчас, поскольку все это – чистая иллюзия! Но ощущения совершенно реальные! Даже более чем! Подумайте, только сегодня и только сейчас вы можете совершенно безнаказанно отрубить человеку голову! Я же знаю, есть желающие, не может не быть!

Бас Феликса сделался еще гуще, так что барабанные перепонки трепетали под напором низких звуков, которые ввинчивались в мозг и наполняли его беспричинным страхом. В еще совсем недавно причесанном зале началось какое-то медленное, но грозное шевеление. Наконец из-за стола поднялся толстый и внушительный Игогоев.

– Ну-кась, – с ямщицкой интонацией произнес он, – дай-ка я попробую.

Игогоев был уже у эстрады, когда из другого конца зала, громко отодвигая стулья, к нему кинулся главный редактор «Аджаб-Сандал Пост».

– Позвольте, – на ходу кричал он, – я раньше вас хотел, просто жевал в этот момент и сказать не успел!

Этот крик как будто разбудил зал. Из-за столиков стали подниматься гости. Желающие безнаказанно казнить Сосикина выстраивались в изломанную нервную очередь, споря и размахивая руками. Послышался звук пощечины и, предвещая драку, взвизгнула чья-то не то жена, не то любовница. К счастью, порядок был мгновенно восстановлен Феликсом.

– Эх! – что есть силы рывкнул он, и публика замерла. – Приятно наблюдать у представителей нашей общественности такой энтузиазм! Впрочем, вижу, что желанием восстановить справедливость охвачены не только мужчины, но и дама! Мадам Марвихер, рад, искренне рад! Если я не ошибаюсь, до приезда в Америку и начала своей карьеры на радио вы были сержантом в изоляторе колонии общего режима. Что ж, вполне логично! Но

поскольку в нашем распоряжении один только Вася Сосикин, а вас, как видите, много, то...

– А давайте Сундуккеева тоже грохнем, – закричал один из очереди, но я не смог рассмотреть, кто именно, – он мне, гад, штуку баксов уже полгода должен и не отдает!

– Тогда уж и Пигмеева давайте, – плотоядно прошипела Джульетта Марвихер, – у него грехов мало, что ли...

Очередь оживилась, и в течение минуты в качестве кандидатов на казнь были названы еще с десятков имен. Удостоившиеся этой чести в бешенстве кричали, что с самими назвавшими их тоже неплохо бы разобраться. Шум все нарастал и грозил перейти в общую потасовку.

– Ша! – заорал Феликс, на секунду выходя из образа фокусника и гипнотизера. – Але, детишки! Не извольте торопиться! Давайте для начала с Сосикиным покончим. А там уж...

Разгоряченная толпа несколько растерялась и, воспользовавшись этим, на эстраду, опередив Игогоева, поднялся Акам Нахамов. Ни слова не говоря, он выхватил у улыбнувшегося Феликса топор, перехватил его поудобнее и примеривающимся взглядом посмотрел на съездившегося Сосикина.

– И чего, – заходя сбоку, с любопытством спросил его Феликс, – не жалко вам Васеньку? Хоть и жулик он отчаянный, но какой-никакой, а человек.

– Дык, – Нахамов презрительно скривил губы, – оно ж не по-настоящему, вы сами сказали. И потом баранов резал много, да, а человека еще не приходилось. Интересно же...

– Гад ты! – снизу заорал на него Игогоев. – Без очереди лезешь! А у меня, между прочим, половинная доля в твоей сраной газетенке, забыл? Так что давай сюда топор и вали!

Нахамов растерянно оглянулся на безмолвствующего Феликса и, заторопившись, подскочил к Сосикину. Но на пути у него уже стоял Игогоев. Блестящее лезвие описало дугу, раздался хруст, и на белый пластрон Феликса брызнула струя крови... В зале началась паника. Женщины кричали и падали в обморок, а солидные мужчины, постыдно опрокидывая столы, метались в поисках выхода.

Не зная, что делать, я привстал, но Рита крепко ухватила меня за руку и потянула куда-то в темноту. По-прежнему не выпуская моей руки, она устремилась вперед, а я на нетвердых ногах следовал за ней, чувствуя, что кошмар гонится за мной по пятам...

Уже в машине, подставив потное лицо под прохладную струю воздуха, я сообразил, что за нишей, где мы сидели, скрывалась не Статуя Свободы, а дверь в подсобный коридор, по которому мы и выбрались из ресторана. Куда подевался Феликс, я не заметил.

– Ну, – устало произнесла Рита, – как вам наше ПВ?

– Скажите, – потерянно спросил я, – а что, Нахамов действительно ударил Игогоева топором?

– Нет, конечно, – рассмеялась Рита. – Все это работа Феликса. Но подумайте, Паша, какие из смертных грехов мы с вами сегодня обнаружили у

почтенной публики. Люблю хорошо выполненную работу! А вы, кажется, загрустили. И напрасно: люди есть люди.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ДО

Старый деревянный самолет, дребезжа и подпрыгивая, понесся по взлетному полю, разогнался и, оторвавшись от земли, из неказистой расшатанной машины вдруг превратился в легкую изящную птицу. Он сделал мягкий разворот и начал набирать высоту, а я, с любопытством глядя в иллюминатор, видел веселую блестящую полоску моря и накинутое на него скучное байковое одеяло степи. Я был счастлив, я летел вперед – туда, где линия горизонта сходится с линией судьбы...

Самолет слегка снизился, лег на крыло, и я увидел худенького двадцатилетнего паренька в неладно сидевшей на нем военной форме. Паренек этот белой ленинградской ночью прыгал по болоту, срезая себе путь через лесопарк Сосновку. Он шел от своей будущей жены, влюбленный по уши, готовый по уши провалиться в болото, чтобы только успеть в часть до рассвета... Будущая теща, пару раз заставшая его со своей дочкой на месте преступления, решительно заявила, что, дескать, побаловались и хватит. Вот женись, тогда дело другое. А пока извини... Они, конечно, не послушались, но их любовь приобрела прелестный горьковатый привкус запретного плода...

Он шел по болоту, выгнанный тещей взашей посреди ночи, в дикой части Сосновки. Было самое глухое время – около трех часов, стояла полная тишина, летняя белая ночь поблескивала тусклым серебром. Солдатик знал, что всего лишь в каких-то ста метрах от него находится Тихорецкий проспект, но ему казалось, что это мрачное болото раскинулось по всей земле и будет тянуться бесконечно... Впору какой-нибудь нечисти появиться, подумал он. И тут же, перепрыгивая с кочки на кочку, заметил старую корягу, подозрительно смахивающую на сгорбленную фигурку с костлявыми руками и ушедшей в плечи головой.

– Э-э, батенька, – вроде бы донеслось до него, – вона по болоту-то среди ночи скачешь! Надо ж как жениться приспичило...

Солдатику показалось, что коряга разговаривает с ним с интонацией сказочных кикимор – милых и смешных мультяшных персонажей. Поэтому он несколько не испугался, а, наоборот, остановился и улыбнулся. Недобро сверкнул глаз-гнилушка, и предрассветный ветер тронул верхушки хилых болотных березок.

– Че ухмыляешься, паршивец? Думаешь, с тобой в игрушки играют? Делать мне больше нехрен, кроме как сидеть тут, тебя дожидаться! Я к тебе по делу. А женитьба... ну что ж, женись, коли отросло кой-где...

И рассмеялась коряга, и закашлялась вороньим карканьем, а я, сидевший в самолете, только крепче сжал свой верный деревянный автомат. Надо же, какой храбрый солдатик, думал я, идет ночью по болоту и не боится... Неужели когда-нибудь я стану взрослым?..

– Ты? Взрослым? – закачалась, заплескала тиной коряга. – Ой, уморил, злодей, ой, уморил! Жениться ты, конечно, женишься, дело-то сладкое... И дети пойдут у тебя, и, верь не верь, внуки. А вот вырасти ты *никогда* не вырастешь! Так мальчишечкой навсегда и останешься. Тем самым, который в кудряшках и с автоматом – не забыл его? Это я тебе обещаю, храбрец сраный! Хотя ни черта ты не храбрец! Попомни мои слова, сопляк, будут у тебя еще испытания...

– Ну и что? – разозлившись, громко, на все болото, крикнул солдатик. – Испытания так испытания! Что ж мне теперь из-за этого прямо сейчас в болоте потонуть?! А что мальчишкой останусь, так это мы посмотрим еще!..

– погоди орать-то, – коряга скрипнула и глубже осела в черный торфяной ил. – Секрет один хочу тебе открыть из вредности. Изменить ты все равно ничего не изменишь, так что секрет этот тебе не поможет, а мучить все жизнь точно будет! Ну что, говорить?

– Говори! – упрямо наклонил голову солдатик, вглядываясь в корягу. – Лучше уж знать, что ожидает...

– Ладно, слушай, – ему показалось, что коряга поморщилась. – Беда твоя в том, что ты, братец, *родился не вовремя*, и теперь все, за что ни возьмешься, будет получаться у тебя не ко времени. Может, и хорошо будет получаться, иногда даже талантливо, да только либо слишком поздно, либо слишком рано. И оттого жизнь у тебя будет бестолковая, а порой и вовсе хреновая... Ну а теперь беги жениться, ежели невмоготу!

Подлая коряга расхохоталась и, когда солдатик, не сдержавшись, наступил на нее кирзовым сапогом, мерзко хлюпнула. Зачерпнув голенищем черной холодной воды, он опомнился, пришел в себя и, от греха подальше, побрел по болоту к Тихорецкому проспекту...

А самолет снова выровнялся, прошел через плотный слой облаков, и земля исчезла с глаз, сменившись белым бескрайним полем фата-морганы. Прислонившись к охлаждающему лоб стеклу иллюминатора, я задремал, а когда открыл глаза, то увидел все того же солдатика, зажатого в угол пустой бани пятью сослуживцами. Судя по цвету кожи и выговору, это были его земляки, азербайджанцы. Один из них, маленький, крепко сбитый паренек, нервно подергивая щекой и прожигая непонятным ненавидящим взглядом, с характерным акцентом вопрошал: «Скажи, а почему *ваши* евреи *наших* имамов убили?»

Я очень удивился и положил палец на спусковой крючок моего автомата.

Еще не догадываясь об опасности, солдатик пытался объяснить, что не было случая, когда евреи убивали исламских имамов. По крайней мере, он об этом ничего не слышал и потому ответить на этот вопрос никак не может.

– Нет, ты все-таки ответь, почему ваши евреи наших имамов убили?! – без конца повторял заводила, взвинчивая себя все больше и больше.

Я увидел, что его приятели, не столько обиженные за неведомых им имамов, сколько подогреваемые истеричностью тона своего вожака, тоже начали нехорошо волноваться и играть желваками. Только теперь солдатик ощутил нависшую над ним серьезную опасность. Потому что били в части

безжалостно, иногда оставляя человека калекой. А горячие южане к тому же запросто пускали в ход ножи...

– Нет, ты скажи, что вам наши имамы сделали, зачем вы их убили?! – уже на самой высокой ноте, страшный, как вот-вот готовая разорваться мина, вопрошал заводила.

Я, сидящий в самолете, направил стол автомата прямо ему в лицо и с наслаждением спустил курок.

– Та-та-та-та! – не по-настоящему зашелся деревянный автомат, – та-та-та-та!

– Наши евреи ваших имамов убили, говоришь?.. – переспросил солдатик, чувствуя электрические покалывания под языком. – Ну так и правильно сделали!

От такого хамства и, по всей вероятности, от неготовности к отпору ему тогда дали уйти. Позднее солдатик ловил на себе не то осуждающие, не то удивленные взгляды участников той разборки. Но больше к нему с такими вопросами не лезли...

День и ночь, свет и тьма, жара и мороз не просто сменяли друг друга, они были предназначены для чего-то важного, что солдатик никак не мог понять. Понимание не давалось в руки, оставляя странное ощущение участия в игре, ни смысла, ни правил которой он не знал. От этого все время казалось, что солдатик случайно отстал от своего поезда и теперь сидит где-то на маленькой станции, ожидая попутной электрички, а мимо неведомо куда несутся сияющие огнями и музыкой экспрессы, длинные, как змей-искуситель...

Я снова прижался лбом к иллюминатору, и снова увидел того самого солдатика, только теперь уже без формы и с бородой, которая почему-то делала его еще моложе. Одет он был в какие-то рваные тряпки, а в руке держал меч. Это была маленькая одноактная пьеса, в которой действовали всего два героя. Она идеально подходила для подпольных квартирников. Сама пьеса вряд ли обладала весомыми художественными достоинствами, но этот недостаток с лихвой искупался темой и самим названием – «Масада».

Во времена Иудейской войны Масада - крепость на горе над Мертвым морем – более тех лет безуспешно осаждалась римлянами. Когда же осажденные поняли, что проигрывают, то выбрали десять воинов, перерезавших всех, кто еще оставался в живых, включая жен и детей; а потом один из них убил оставшихся и сам бросился на меч... Пьеса представляла собой диалог двух последних живых защитников крепости – военачальника Бен Яира и простого воина Иосифа – о том, стоит ли восставать против заведомо сильного противника. Для многих ленинградских евреев, привыкших к иной трактовке образа еврейского мужчины, почерпнутой, в лучшем случае, у Шолом-Алейхема, такая пьеса была откровением. Несмотря на скупость самодельных декораций и костюмов, а также невысокий профессионализм исполнителей, народ уходил после спектакля совершенно потрясенным.

Ну и, конечно, успеху необычайно способствовала обстановка подполья, в которой давался спектакль. Потому что, как известно, советская

власть не очень любила евреев. Однажды играли в какой-то квартире на первом этаже. Когда Бен Яир произносил фразу «пора, Иосиф, римляне уже близко», за окном взвыла милицейская сирена и включилась мигалка. Несмотря на трагизм момента, публика рассмеялась.

Бывший солдатик играл Иосифа, и каждый вечер, уходя на спектакль, как партизан на боевое задание, он не был уверен, что вернется домой, а не окажется арестованным по какому-нибудь сляпанному на скорую руку обвинению.

Странно и сладко было чувствовать себя подпольщиком в родной стране... А КГБ не дремал, и однажды к режиссеру их подпольного театра на улице подошли двое мужиков, один из которых врезал ему по физиономии, а второй скрутил руки. В результате отеческого внушения властей режиссер просидел пятнадцать суток за хулиганство, что при других обстоятельствах выглядело бы смешным: этот утонченный и вежливый узкоплечий интеллектual менее всего годился на роль хулигана. Однажды, когда бывший солдатик заболел и не смог приехать на спектакль, режиссер был вынужден сыграть воина. Потом рассказывали, что народ поражался тому, какими робкими и нежными были, оказывается, воины, засевшие в Масаде. И в этом тоже была своя ирония: этот слабый внешне человек не побоялся ставить пьесы, от одного названия которых весь КГБ трясло от ненависти.

В общем, время, когда играли этот спектакль, было военным временем – временем удивительным, страшным и прекрасным одновременно. Впрочем, иногда случались и занятые ситуации. Бывший солдатик вообще плохо запоминал или, как говорят актеры, держал текст. А эта пьеса состояла из сплошных диалогов и монологов. Однажды на спектакле с ним случилось необъяснимое. В тот момент, когда страсти были уже накалены до предела, присутствующие хлюпали носами и сморкались, а ложный пафос слабенького текста заслонялся подлинностью переживания, он произносил монолог, начинающийся с фразы «мы были простыми скотоводами и виноградарями» Воздействие непрофессиональной игры было еще и потому столь сильным, что актеров и зрителей не разделяла рампа, вообще сцены как таковой не было: играли в каком-то метре от сидящих в первом ряду. Но это и обязывало быть максимально искренними. Работать на пределе. Ведь актеры оставались со зрителем один на один...

И вот после брошенной партнером фразы бывший солдатик начал свой монолог: «Мы были простыми *скотоводырями* и *свинопасами!*»... Нелепая оговорка «скотоводыри» более-менее понятна, но откуда, спрашивается, из каких глубин подсознания могли взяться эти самые свинопасы? У партнера, к счастью, сидевшего вполоборота к зрителям, от смеха затряслись плечи... Но самое странное, что после спектакля никто из публики о жуткой оговорке не сказал ни слова. Пожимали руки, расспрашивали, благодарили за полученное удовольствие... в общем, все как всегда.

– Видишь ли, – мягко заметил потом режиссер, – ты плохо знаком с еврейской историей. Дело в том, что евреи в те времена действительно разводили свиней на продажу. Было такое дело. Ну и зрители решили, что

пасти свиней евреев заставляли римляне - в качестве унижительной повинности...

И все-таки бывший солдатик был счастлив: война, на которую он ходил по вечерам, была настоящей и всерьез испытывала на прочность. Ему казалось, что он мог гордиться собой. А потом война закончилась: театр свернулся из-за массового отъезда и актеров, и зрителей туда, где стояла прокаленная солнцем настоящая Масада...

Сверху, из самолета, мне было видно бывшего солдатика, который жил теперь в другой коммуналке – уже без жены, но с соседом, недавно вышедший из тюрьмы после семнадцатилетней отсидки. В округе этого мужика уважительно называли «Андреич» и без дела к нему не совались. Это был классический образчик «синего» зека – с православными храмами, наколотыми на груди и спине, эсэсовской «плетенкой» на плече и речами навзрыд. Как это ни странно, но у бывшего солдатика отношения с ним выстроились вполне приятные. Солдатик не лез в его дела, он тоже не надоедал солдатiku своим любопытством. Встретившись в коридоре или на кухне, они дружески болтали по-соседски о том о сем. А однажды поздно ночью Андреич постучал к нему в дверь.

– Слышь, сосед, – Андреич был на удивление трезв, хотя и вообще пил умеренно. – Тут такое дело... Ты не мог бы?..

Андреич замаялся, и солдатик уж подумал было, что он хочет попросить трешку взаймы, чтобы сбежать на «пьяный угол» за водкой, но ошибся.

– В общем, тут, короче, вот... чемодан. Пусть у тебя постоит эту ночь, ладно?

Он протянул солдатiku через порог большой кожаный чемодан, и солдатик замер, пытаясь мгновенно решить сложную нравственную задачу. Чемодан был явно краденый, и Андреич боялся, что к нему может награться с обыском милиция. Но отказаться от чемодана солдатик отчего-то не смог. Впрочем, тогда все обошлось: милиция пришла на следующую ночь, когда чемодана уже не было и в помине.

А потом другая соседка открыла дверь человеку, который спрашивал солдатика и, не разобравшись, а только желая сделать солдатiku гадость, заявила, что он здесь больше не живет. Ходят тут, понимаешь, всякие гопники, еще дверь им открывай... Человек этот оказался разносчиком повесток из военкомата. Так, благодаря счастливой случайности, солдатик не попал на военные сборы в сочащийся в ту пору радиацией Чернобыль...

Самолет надолго ушел в облака, его затрясло, натужно взревели двигатели, в кабине угрожающе потемнело. Снаружи в иллюминатор билась какая-то мутная каша, и я прикрыл глаза...

Бывший солдатик тем временем переехал в Америку и написал роман. Роман этот, хоть и напечатанный солидным московским издательством, ожидаемой славы и денег не принес. Напиши его солдатик лет на пять-семь раньше, когда жадная до чтива и еще не привыкшая к потоку печатной продукции публика рвала из рук любую новую книжку, все было бы иначе. Трудно себе представить, насколько иначе... А потом ему заказали сценарий. Не ахти какой, но все же сценарий.

Заказчик, одна из нью-йоркских еврейских организаций, хотел, чтобы фильм был игровым, философским и одновременно героическим, недорогим в производстве и мощным по производимому впечатлению. Ну и, разумеется, еврейским по содержанию и духу. Обозначив эти критерии, глава организации предложил солдатику самому выбрать сюжет. И тогда он вспомнил о «Масаде».

Конечно, неказистый и выпренный текст нужно было полностью переписать. С тех пор как солдатик играл Иосифа, прошло тридцать лет, сместились акценты, да и вообще все в мире поменялось. Призывы обрести родину любой ценой потеряли свою актуальность. Осталось только главное – довольно расплывчатое понятие «народ» – народ, состоящий из отдельных людей, которые признают себе: «я могу» или «я не могу», «я люблю» или «я боюсь»...

Болтанка кончилась так же неожиданно, как и началась. Внизу открылось низкое ночное небо с крупными южными звездами, а в ушах у меня зазвучал сначала тихий, а потом все усиливающийся и усиливающийся шум битвы: звон мечей, яростные крики нападающих, стоны раненых. Звуки эти стали невыносимо громкими и внезапно оборвались. Я увидел двух плохо одетых людей, сидящих у костра.

Стоит звенящая тишина, одуряюще громко кричат цикады, ночь пахнет нагретой за день пылью и горькой солью Мертвого моря. И никто, кроме низко висящих звезд, не слышит того, о чем говорят эти люди. Их беседа нетороплива и вроде бы лишена эмоций, ведь ничего не изменишь, все уже решено, отвага и трусость уже проявлены. Осталось самое последнее, но это уже не страшно. Всегда проще, когда дороги назад нет...

Беседуют они не о высоком, не о народе, не о подвиге, не о смысле жизни. В свою последнюю ночь они толкуют о вещах самых приземленных, простых и понятных. О женщинах, о так и не отданном вовремя долге в три шекеля, об оставленной на брата лавке в Иерусалиме... И только по время от времени брошенным вскользь фразам становится понятно, кто эти люди и что их ждет с наступлением дня. Но говорится об этом самым обыденным тоном – между воспоминанием о красавице Адине, любившей одинокие ночные прогулки в масличном саду, и замечанием о поднявшихся, наверное, ценах на шерсть. Римляне обещали пощадить сдавшихся на милость победителя, но такой исход даже не рассматривается. И дело тут не в непримиримой отваге. Конечно, им страшно, им не может не быть страшно... Но по-другому закончить это дело нельзя никак. И понимают это оба, хотя один из них – пожилой опытный человек и крупный военачальник, а второй – простой паренек, случайно оказавшийся в рядах восставших.

И становится понятным, что даже в самый последний, самый тяжелый момент люди остаются самыми обычными людьми, и от этого трагизм того, что уже произошло, и того, что должно произойти, становится пронзительным, а заполненные цикадами паузы кажутся все длиннее. Сидящие у последнего костра довольны: они выполнили то, что должны были, и теперь ждут того, чего нет возможности избежать, не изменив самому себе. А раз это так, то что толку рвать душу... Находясь по другую сторону

костра, я ясно видел этих двоих, прислонившихся плечом к плечу, но в какой-то момент их лица стали зыбкими от языков пламени, задрожали, начали бесконечно множиться, как отражения зеркала в зеркале, а потом оба ушли туда, в зазеркалье, не то в прошлое, не то в будущее. Но это было уже неважно...

Солдатик писал сценарий и постепенно снова вживался в образ своих персонажей, пытаясь понять, что же двигало поступками этих людей. Он давным-давно потерял веру в идеи, требующие крови, как вавилонские идолы. Дело тут было не во влиянии Достоевского и не в особых нравственных принципах. Обычный человеческий опыт подсказывал, что так не бывает. Миром движут самые простые и нормальные желания нормальных людей. А умирать за некую абстрактную идею – удел фанатиков, и солдатик содрогался при мысли, что его герои могут показаться кому-то фанатиками. Ему хотелось видеть их обычными людьми, сделавшими свой нравственный выбор так же обыденно, как выбирали бы товар в лавке. А когда выяснилось, что товар оказался почему-либо неподходящим, не бранясь и не сокрушаясь, с легкой душой отбросили его. Ну не получилось, так бывает...

Снова нырнул в облака самолет, и на всякий случай я храбро сжал вспотевшими ладошками любимый деревянный автомат. Что-то подсказывало мне, что разворачивающаяся внизу история подходит к концу, что осталось значительно меньше, чем прошло...

Бывший солдатик шел по залу, полному людей, держал в руках бокал с вином и натянуто улыбался. Только что он был в Масаде, сидел у одного костра с ее последними защитниками. А теперь вынужден был вернуться в двадцать первый век, ко всем этим людям – веселым, сытым и довольным. Перепад был настолько резким, что ему начинало казаться, что он видит их другими, в другие времена, при других обстоятельствах...

Вон стоит пышная, хорошо одетая дама средних лет. Уверенно придерживая своего собеседника за локоть, она рассказывает ему что-то, вероятно, очень смешное – и сама же хохочет, показывая великолепные фарфоровые зубы. На мгновение солдатик увидел ее такой же смеющейся, только вместо зубов в полутьме поблескивали обнаженные розовые десны с зажатой в них крупной серебряной монетой. В закопченной батистовой рубашке с оторванным воротом и накинутой на плечи широкой юбке она стояла, наклонившись, опираясь на старую телегу, которую от скуки двигала взад и вперед старая худая лошадь. А за дамой несуетливо пристроился усатый мужик в кожаном колете. Он задирает голову к озаренному огнем военному небу и тоже смеялся в такт самому себе...

А вот двое мужчин в хороших костюмах. Один наклонился к другому и что-то интимно шепчет ему на ухо. Сытые довольные лица, мягкие руки, масляные глаза. Солдатику на минуту показалось, что они оба в оборванной полосатой одежде лежат в деревянной тачке, свешивая наружу костлявые, без намека на плоть, руки. Их везет куда-то в темноту такой же истощенный человек, и когда тачка натывается на камень, долго пытается сдвинуть ее с места, отчего головы лежащих гулко стучаются друг о друга...

И еще показалось бывшему солдатику, что вот та милая блондиночка с пустыми синими глазками, явно знающая, как очаровать мужчину, вовсе не стоит рядом с приземистым мужичком с толстым бабьим лицом и взглядом беспокойным, как у мелкого жулика. Сразу перестав быть блондинкой, темноволосая барышня в длинном платье и шляпке, держа руки в муфте, уверенно идет по заполненной народом площади. Осенний день клонится к вечеру, конные экипажи неспешно пробираются через толпу, над которой висит дымок от сжигаемых где-то неподалеку опавших листьев. Глаза барышни все также пусты, но зато в ее муфте лежит нечто, предназначенное для спокойно сидящего в приближающемся к ней экипаже мужчины в кителе с эполетами. И через мгновение встают на дыбы раненые лошади, взрыв рвет в клочья и экипаж, и всех оказавшихся рядом, а запах листьев сменяется тяжелым запахом горящей плоти. И только тогда в глазах у барышни появляется осмысленное выражение, а рот кривится в улыбке...

В ресторане солдатик поспешно отворачивается от этой женщины – и натывается на взгляд ее спутника. И видит уже другую женщину, истощенную, которая идет по узкой загаженной улочке в пальто с криво нашитой желтой звездой. Она прижимает руки к груди и тоскливо оглядывается. Темнеет, но фонари на столбах мертвы, издали слышится лай собак. Этот единственный разносящийся в замершем морозном воздухе звук наполняет все вокруг предвкушением беды. Женщина заходит в подъезд двухэтажного дома, спотыкаясь, поднимается по темной лестнице и робко стучит в дверь, в щели которой пробивается слабый колеблющийся свет.

За дверью кто-то копошится, потом она отворяется, замерзшую женщину обдает теплом и затхлостью, и на пороге появляется тот самый человек с бабьим лицом и беспокойным взглядом. Только в отличие от настоящего, облаченного в хороший костюм, его двойник укутан в женский платок, из-под которого виднеются несвежие мятые кальсоны. Он что-то торопливо дожевывает, и женщина, глядя на него, невольно сглатывает слюну.

– Ну что, – разглядев, кто стоит перед ним, недовольным тоном произносит Двойник, – принесла?

– Да, – отвечает женщина, и солдатик даже не удивляется, что свободно понимает идиш, на котором они разговаривают, – принесла. Но только...

– Ну что еще? – двойник морщится, – я ж тебе сказал, все будет как договорились. То есть, сама понимаешь, с ними нужно держать ухо востро, но герр гауптман обещал твердо. Да и вообще списки «туда» составляю я, а он только утверждает. За эту цацку он твоего Ицика не заметит, что ему этот Ицик, так, пшик один...

Женщина протягивает Двойнику руку, и в свете самодельной копилки на ладони поблескивает голубоватый камень, на секунду оставляя на грязных обоях холодные брызги. Двойник прячет вещицу в кулаке и, заторопившись, машет на женщину руками, а когда та исчезает в темноте, торопливо закладывает дверь тяжелым засовом. Подойдя к столу, Двойник разжимает кулак и всматривается в принесенную вещь. Это старой работы браслет с крупным бриллиантом и четырьмя изумрудами помельче.

– Да-а, – бормочет он себе под нос, – Ривка-то не обманула, остались-таки еще у Гройсманов камешки...

Двойник удовлетворенно улыбается и лезет куда-то за стоящую у стены кровать с никелированными шариками на спинках, извлекает мятую картонку из-под обуви, вынимает из нее поношенные штиблеты, достает вонючий засаленный носок, заворачивает в него браслет и прячет в туфлю.

– А гауптман может провалиться сквозь землю вместе с Ривкой и ее Ициком... Мне самому нужно будет откупаться! А то и в самом деле не сегодня-завтра всех в расход пустят... Но меня-то, старосту, они не тронут... конечно, не тронут! О-о, я им еще нужен, я еще долго буду им нужен! А эти Гройсманы... ну что поделаешь, всех все равно не спасешь...

Двойник поднимает лицо, и прозрачные глаза его сияют не хуже бриллианта сгинувших Гройсманов. Только, в отличие от равнодушных камней, глаза его светятся полной и безусловной уверенностью в собственной правоте; он горд своим умением выживать любой ценой...

Солдатик возвращается в шумный, залитый светом ресторанный зал. Да, такие нужны, думает он, и еще долго будут нужны... Такому ничего не страшно, глаза его блестят, а жирный подбородок трясется от еле сдерживаемого торжествующего смеха...

Стоя посреди зала, бывший солдатик видит разных людей, живых и мертвых, смеющихся, плачущих, голодных и сытых, неведомо как занесенных сюда из разных времен... И только теперь понимает, что никакой он не бывший, что война продолжается, что он все тот же рядовой, тот же Иосиф с бутафорским мечом. И что Масада, однажды начавшись для него, на самом-то деле никогда не закончилась...

Права, права оказалась старая болотная коряга: повзрослеть ему не удалось. Рожденный не вовремя, он так и остался вне времени.

Я вдыхаю восхитительный запах масляной краски, которой выкрашен мой деревянный автомат, и самолет, управляемый, конечно же, самим Гагариным, несет меня все дальше и дальше. Туда, где несвоевременность не вызывает ни смеха, ни сожалений...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ЛУТИЯ

Солнце поднялось высоко и уже начинает припекать. Припекать безжалостно, как мои воспоминания. Утренний ветерок разносит вокруг горький запах золы – запах пустых надежд, которыми всегда заканчивается ночное безумство. Этот запах напоминает мне, что бородатые спорщики спят теперь в своих шатрах, значит, я могу вернуться к кострам и, если Единому будет угодно, подкрепиться тем, что осталось после их пиршества. Удел слуги – подбирать объедки, будь то стол господина или его жизнь. И только плохой и глупый слуга самонадеянно пытается занять место рядом с господином. Я был плохим слугой...

Времени уже не остается, видения прошлого настойчиво подводят меня к самому главному, к тому, что хотел бы забыть навсегда. Но разве такое возможно? Я отдал бы правую руку, чтобы Другой не мучил меня сомнениями – самым страшным оружием памяти. Только кому теперь может понадобиться моя рука, давно уже не державшая меча, слабая и неловкая рука старика?..

Когда против своей воли я оставил Первенца с неблагородным племенем Джухрум и вернулся обратно к господину, ему было не до меня. Великое смятение, как бесноватый нищий, вторглось в наш стан, и поначалу никто не связывал мое отсутствие с исчезновением Первенца. Только ничтожный Нахор-Авилот, опасливо улыбаясь, сказал, что его госпожа желает видеть меня. Я понял, что Шари о чем-то догадывается, и тяжелая ноша вины сделалась еще тяжелее. Я не хотел помогать ей, становиться исполнителем ее воли. Тем более что господин мой, в отчаянии от потери Первенца, одиноко сидел в шатре, и мое сердце разрывалось от жалости и боли.

Я пришел к Шари и сразу понял, что у стервятника не может быть тайн от гиены. Она видела меня насквозь, но я понимал, что самое главное скрыто и от нее; ибо сам не знал, что стал бы делать с Первенцем, если бы не воины неблагородного племени Джухрум. Стоя перед Шари и стараясь спрятать глаза под ее пронзительным взглядом, я вспоминал, как Первенец, благодаря заступничеству Хайгайри, отпустил меня обратно домой.

– Я был неправ, Лутия, – недобро сказал он, глядя себе под ноги, – ты, может быть, и плохой слуга, но ты слуга отца, и не мое дело наказывать тебя. Кроме того, я дам тебе поручение. Отправляйся назад и сообщи отцу, что я, его любимый сын, избрал путь Страха, и что...

Первенец говорил гордо и зло, только избегал смотреть мне в лицо, и я подумал, что не успел воспитать в нем этого достойного мужчины умения. Но упрямо сжатые губы, вскинутые брови, вся осанка говорила о том, что скоро, очень скоро я буду гордиться своим воспитанником. Если, конечно, ему еще раз не придет в голову убить меня, дерзкого.

– Так вот, – Первенец наконец-то превозмог себя и посмотрел мне в глаза, – скажи отцу, что я намерен взять себе жену, и что я обещаю продолжить и возвеличить род его так, как было угодно Единому. Я уверен, ты хотел помешать этому, потому и унес меня в пустыню. Но откуда тебе, скудному, знать, кем и как исполнится Его обещание. Теперь у меня есть свой народ! Иди и верно служи моему отцу, своему господину.

Первенец был уверен в своем праве, хотя все неблагородное, но многочисленное племя Джухрум не могло бы противостоять господину; ведь за ним, как стены Бабеллы, возвышался Единый. Но, может быть, Первенец знал нечто такое, чего я не мог и помыслить? Неблагородное племя Джухрум признало в Первенце своего повелителя, я видел это своими глазами. Может быть, желая спасти его от смерти, я выполнял волю Единого? Но ведь Второй – тоже сын моего господина и наследует ему. Уж не получится ли так, что теперь два народа будут оспаривать друг у друга право на избранность? От этих сложных и страшных мыслей у меня кружилась голова, и я с трудом добрал до нашего стана.

– Ну что, – спросила меня Шари, – куда ты, безбородый, спрятал Первенца? Молчишь? Ты его убил? Врешь! Я знаю, у тебя никогда не поднялась бы на него рука. Скорее ты убил бы господина, чем его Первенца... Хотя ты и без того убил его, сделав то, что сделал... Значит, ты спрятал Первенца в пустыне... Ты думал, что господин обвинит в краже Первенца меня? Ты старый дурак, Лутия!

Я ничего не сказал Шари. Но видимо я недостаточно хорошо знал ее и появился перед господином в полной уверенности, что застану его в том окаменевшем отчаянии, в каком он, по слухам, пребывал с момента исчезновения Первенца. Но господин снова обманул меня. Он сидел у шатра под палящим солнцем и что-то чертил на песке, потом нетерпеливо стирал начерченное и снова чертил.

– Лутия, – сказал мне господин, и я с изумлением увидел, что он улыбается, – ты глупый, но хороший слуга... Или нет, хороший, но глупый! Ты всю жизнь носишься со своим пророческим даром, не понимая и сотой доли того, что Единый счел нужным открыть тебе. Хочешь ты того или нет, но воля Его будет исполнена, как бы тяжело не приходилось тем, на кого возложено ее исполнение. То, что ты считаешь слабостью, назовут силой, а в том, что тебе сейчас кажется несправедливостью, проявляется высшая мудрость...

Он замолчал, а я следил за неровными бороздками на песке и спрашивал себя, почему ангелы Джуда являются только для того, чтобы передать волю Единого, но никогда для того, чтобы помочь ее исполнить. Мне казалось, что господин, проводя бороздки и тут же засыпая их песком, пытается стереть что-то из своей жизни, но, понимая всю бессмысленность этого занятия, рисует их снова. Жалость пронзила меня как меч, я кинулся в ноги господину и закричал, что готов отвести его к Первенцу и ценой жизни отобрать наследника у неблагородного племени Джухрум.

– Нет, – вскричал господин, – ты все сделал правильно, и не мне менять уже сделанное! – Он помолчал, а потом тихо добавил. – Я жду обещанного мне Знака, понимаешь? Единый обещал великое будущее моему народу, берущему начало от сына моего сына. Знаешь ли ты, Лутия, что это означает? Даже я до конца не понимаю этого. Но Знак... Мы должны ждать Знака!

Обрадованный, я передал господину слова Первенца, и господин только кивал головой, не то соглашаясь, не то удивляясь. Его Первенец выбрал путь Страха? Ну что ж, пусть идет по нему. Но сам господин не должен видеть Первенца в его изгнании. Так повелел Единый, и так и будет. Второй останется рядом, и когда придет время, господин получит все объясняющий Знак. И тогда господину будет легко и радостно исполнить волю Единого, обещавшего величие и избранность Его народу.

– Как ты думаешь, – спросил меня господин, поднявшись на ноги, и небрежно разровнял песок, – какой путь выберет Второй?

Над пустыней уже дрожит раскаленный воздух и рождает мороки и видения. Сейчас, спустя столько лет, я не могу с точностью сказать, сколько прошло времени, прежде чем все успокоилось, и народ наш принял Второго взамен пропавшего Первенца. Хотя уже тогда ходили смутные слухи о том, что не Шари была его матерью, и что именно она, родив Второго, выгнала

Первенца в пустыню. Но наш своенравный народ, народ спорщиков и воинов, почитал моего господина, и что бы не говорило присвоившее Первенца неблагоприятное племя Джухрум, оставался верным его руке и воле.

Подлый Нахор необычайно возвысился в ту пору, стал толстым, важным и осмелел настолько, что позволил себе благодарить меня, когда я убил нескольких наглецов, сомневавшихся в праве Второго наследовать господину. Шари тоже стала относиться ко мне по-другому, и когда Второй вошел в возраст, поручила его воспитание мне. Хотя подлый Нахор все время вился вокруг Второго, и я видел, что Второй с интересом прислушивается к его нечистым речам.

Сам господин тоже изменился с рождением Второго. Мне казалось, что ожидание обещанного Единым Знаком наполнило господина уверенностью, которой ему так не хватало в последнее время. Стада наши опять стали тучными, а соседи, еще недавно безнаказанно нападавшие на нас, теперь оказывали господину надлежащее почтение. Наступила пора благоденствия. Я часто думал о Первенце, но не позволял себе даже намеком напоминать о нем господину. Несмотря ни на что, я угадывал терзающее его душу глубоко запрятанное страдание. Но мой господин велик, и не мне, дерзкому, судить о делах и чувствах его.

Второй мало ходил на Первенца и статью, и духом. Часто посреди наших занятий он опускал руку с мечом и глубоко задумывался. Мне казалось, что владение оружием не доставляет ему той радости, которую я видел у Первенца. Но Второй не был хилым или трусливым, нет! Он постигал науку мужества успешно и настойчиво, но не придавал этому никакого значения, и даже когда на испытании успешно перерубил пополам годовалого барана, только слабо улыбнулся и сразу отбросил меч в сторону. Поэтому не нужно было обладать даром пророчества, чтобы понять, какой из путей он выберет, когда господин станет вопрошать его.

Я подхожу в своих воспоминаниях к самому важному и самому страшному, но пусть солнце сожжёт меня раньше, чем я отступлюсь от признания моей вины и моей глупости.

Беда, как всегда, пришла неожиданно. Однажды среди ночи господин разбудил меня ударом посоха. И тут же зажал рукой рот.

– Лутия, – прошептал он, – иди за мной, ты единственный, кому я могу довериться.

Мы покинули стан и углубились в долину, где паслись наши овцы. И только когда мы достигли пределов наших владений и, освещаемые следовавшей за нами капризной, окутанной облаками луной, дошли до каменистой земли хетта Афронна, господин заговорил.

– Смотри, Лутия, и запоминай, – господин указал мне на провал в усыпанной крупными валунами почве. – Я купил эту пещеру и заплатил за нее Афронну четыре сотни серебряных шекелей.

На мой вопрос, зачем ему нужна эта пещера, к тому же окруженная негодной для овец землей, господин властно взмахнул рукой, приказывая молчать. Так надо. Господин улыбнулся, но тут же опустил голову.

– Нас ждет множество испытаний, но ты должен поклясться мне, что где бы ты ни был, ты придешь сюда после моей смерти и похоронишь в этой пещере меня и мою жену.

Снова резким, как удар меча, жестом господин остановил мои возражения. Он ждал клятвы. Я склонил голову и принес ему эту горькую клятву.

– Я получил Знак, Лутия, – сказал он, чуть помолчав, и я понял, что нерадостным был этот столь ожидаемый господином Знак. – Единый послал мне его во сне, и я, скудный, не могу понять, зачем Ему понадобилось так испытывать меня.

Господин помедлил и сказал, что в знак верности и послушания Единый повелел ему принести страшную жертву – своего любимого сына.

Мне показалось, что я ослышался. Не мог Единый, которому столь противны человеческие жертвоприношения, потребовать от родоначальника великого народа убить собственного наследника.

– Я сначала тоже так подумал, – сказал мне господин как равный равному, – но потом понял: я должен буду сделать выбор между двумя сыновьями, именно в этом смысл Повеления. Как иначе выбрать между Первенцем и Вторым? Кто наследует мне? Но значит ли это, что, принеся в жертву самого любимого, я отдам первородство тому, кого люблю меньше? Или я оказался недостойным великого дела, и Единый отступился от меня? Почему моя Шари так долго была бесплодна, что потребовалось пойти на хитрость, а теперь... Теперь я не знаю, что делать!

Я не единожды видел отчаяние и горе моего господина, ибо долгое время верно шел за ним, разделяя его судьбу; но никогда еще он не казался мне таким несчастным и растерянным.

– Я сам виновник всех бед, Лутия, – с трудом проговорил господин, – потому что, открою тебе тайну, не дожидаясь Знака, я посещал Первенца...

Видя мое изумление, господин покаянно склонил голову.

– Да, я видел его, и не однажды. Хайгайри тайно сообщила мне о том, где теперь Первенец. Он живет в уважении и почете. Рассказывают, что там, в пустыне, где он ударил по земле ногой, забил родник... Сердце мое рвется между ним и Вторым, которого я люблю более всего на свете. Он – сын моей возлюбленной жены... Но наследовать мне может только один из них. Что мне делать, Лутия?!

Впервые господин обращался ко мне с таким вопросом. Впервые я видел в его глазах не просто отчаяние, но желание, чтобы я понял какую-то его потаенную мысль. Он хотел услышать от меня, его презренного и дерзкого слуги, что-то такое, чего сам не решался произнести вслух. Меня охватило смятение, ибо я понял, что от моего ответа зависело многое. Страх господина передался мне, и я малодушно, как женщина, пожелал оказаться далеко отсюда, чтобы не слышать таких речей господина, не видеть его молящих глаз.

– Разве могу я, несчастный, послушаться Его воли?

Когда господин произнес это, луна, как будто обидевшись, скрылась за тучей, и стало совсем темно. Но мне не нужно было света, чтобы понять, что он чувствует.

– Я не могу не исполнить Знака! Не могу! Только тот, кто полюбил Единого больше себя и детей своих, достоин того, чтобы дать жизнь избранному народу. Я должен выбрать любимого сына и принести его в жертву... Должен! Но я не могу! Что же мне делать?! Ты – мой самый преданный слуга и самый близкий друг, Лутия...

Выглянувшая сквозь тучу луна на мгновение осветила лицо господина, и я снова увидел в его глазах нечто невысказанное. Он приказывал, он просил, он молил меня понять то, что был не в силах произнести. Мне начало казаться, что я догадываюсь, о чем он так страстно просит меня. Я всегда был готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы выполнить любое из его приказаний. И теперь было бы недостойно слуги не послушаться господина, даже если это неуютно Единому. Я вспомнил, как давным-давно, в Бабелле, умолял господина принять меня к нему на службу. Может быть, именно для того, чтобы исполнить сейчас самое главное. Наступил тот момент, к которому я шел следом за господином всю свою жизнь. Момент, когда Единый позволяет ему совершить поступок по собственному разумению – и стать подлинно великим.

Как будто бы гигантская птица Рох вдруг подняла меня над жизнью, и только тогда я увидел, что напрасно жалел своего господина или удивлялся его поступкам. Господину предстоит стать почти равным Единому. И его верный слуга должен помочь ему в этом. Жалкий дар мой как будто снова вернулся ко мне, чтобы поддержать уверенность в правильности того, что мне предстояло сделать.

– Уходи, – неподобающе грубо сказал я моему господину, – уходи и жди две ночи, а потом поднимайся один наверх, на гору, которую пастухи зовут горой Маррай. Я исполню твой приказ и твою просьбу, даже если это будет последним делом в моей жизни.

Господин поднял на меня глаза, но луна окончательно отвернулась от нас, и я мог только догадываться, что выражал его взгляд. Потом господин оставил меня, и я слышал, как он, что-то бормоча себе под нос, осторожно пробирался меж камней. Прошло совсем немного времени, и я остался один неподалеку от купленной моим господином пещеры. Но одиночество мое оказалось недолгим. От входа в пещеру скользнула тень, посыпались мелкие камешки, и в то же мгновение одной рукой я ухватил крадущегося за шею, а другой обнажил меч. Кто бы это ни был, сейчас он поплатится за свое неуместное любопытство.

– Подожди, – прохрипела тень и, узнав голос проклятого Нахора, я крепче сжал рукоять меча, – подожди, Лутия, ты еще успеешь убить меня. Я здесь не по своей воле... Ослабь хватку, и я расскажу тебе кое-что, а потом ты решишь, что со мной делать...

Бросив мерзкого Нахора на камни, я услышал, как он облегченно перевел дух. Я давно уже перестал удивляться тому, что этому негодяю известны многие тайны, и презирал его за недостойное мужчины умение

вынюхивать. Но сейчас я был даже рад, что Нахор подслушал наш разговор с господином. Может быть, Нахор знает что-то такое, что поможет мне исполнить приказ. А потом ничто не помешает мне сделать так, чтобы он не мог воспользоваться услышанным.

– Твой господин – воистину великий человек, – сказал мне Нахор, – но даже ему не под силу выбрать, какого из сыновей принести в жертву Единому. Не удивляйся, я знаю все. Мне известно даже больше, чем ты можешь себе представить. И я хочу поделиться этим знанием с тобой, Лутия. Потому что поодиночке нам не справиться...

Нахор замолчал, и по его прерывистому дыханию я понял, что он боится. Но, похоже, боится не меня. Этот ничтожный червь всегда надеялся на свою хитрость, но теперь надежда его раскололась, как панцирь скорпиона под подошвой сандалии. Нахор был напуган так, что даже мне стало не по себе.

– Не следует нам с тобой ссориться, Лутия, – наконец, выдохнул он. – Не вздумай убивать меня, когда я расскажу тебе свой план. И уж тем более не давай волю своему гневу до того момента, пока я не объясню тебе все до конца. Настало время испытаний, и мы должны забыть прежние обиды... Ты знаешь, что случится, если твой господин принесет в жертву любого из своих сыновей?

Свет луны коснулся лица Нахора и тут же брезгливо отпрянул. Я покачал головой, не понимая, что хочет сказать мне этот ничтожный раб. Я всего лишь слуга и воин, мне не по душе разгадывать загадки.

– погоди, Лутия! – заторопился Нахор. – Сейчас я тебе все объясню. Кого бы из своих двоих сыновей не выбрал господин, это будет означать, что оставшийся ему наследует. Но может ли стать великим народ, начавшийся от нелюбимого сына? А если господин принесет в жертву того, кого любит меньше, то он нарушит волю Единого, и тогда не величие, но бедствия ждут нас. Ты-то не знаешь, а я уже видел, на что способен Единый, когда Он гневается.

Он был прав. Я слышал от господина, что Единый каким-то чудом пощадил Нахора, обрушив свой гнев на сборище других таких же мерзавцев. Даже мне, всегда готовому к смерти, было жутко слушать про огненные струи, падающие с неба и испепеляющие все живое.

– Но есть и третий путь, – сказал я и не узнал своего голоса. – Если верный, но глупый слуга украдет обоих сыновей и лишит господина возможности исполнить обещанное Единому...

– Остановись! – перебил меня Нахор, – Неужели ты, Лутия, думаешь, что способен перехитрить Единого? Не сердись, но даже меня ты не перехитрил. Я слышал, как ты пообещал господину выполнить его приказ. Ты думаешь, что придешь к горе Маррай, посыпая голову пеплом, и вместо сыновей в жертву будет принесен слуга...

– Что ты тогда предлагаешь? – закричал я, и между валунами, как ночные зверьки, заметались вспугнутые мною звуки. – Говори же!

– Тише, – Нахор приблизился ко мне, и я почувствовал его нечистый запах. – Крики могут привлечь сюда того, с кем не следует встречаться

ночью... Мы поступим по-другому. Но прежде я должен открыть тебе тайну. Пойми, Лутия, Единому нужно только одно - чтобы твой господин сам решил, кто из сыновей наследует ему. Но поскольку господин колеблется, Единый поставил его перед таким жестоким выбором...

Нахор помедлил и еще ближе придвинулся ко мне.

– Узнай же то, чего не знает твой господин: никакого жертвоприношения не будет! Единый не случайно спас меня от огненного дождя, мне открыто многое... Но страшно даже представить себе, что случится с тобой, если ты поведаешь об этом господину...

– Так чего же ты добиваешься?! – голос мой был столь страшен, что Нахор отпрянул от меня и, споткнувшись, опять упал на камни. – Чего ты ждешь от меня? Говори, но предупреждаю, если ты опять замыслил подлость, если ты хочешь, чтобы я предал своего господина...

– погоди гневаться, Лутия! – всхлипнул Нахор. – Но если ты боишься...

– Я ничего не боюсь! Говори же скорее, потому что у меня всего две ночи, чтобы исполнить невысказанную волю господина. И если ты меня не убедишь, я сделаю то, что считаю нужным.

Я говорил, а сам думал, что теперь уже не так уверен в себе, что проклятый Нахор своими словами как будто украл у меня волю и посеял сомнение в моей душе. Но я знал, как преодолеть любое сомнение. Я решил убить Нахора, и тогда не останется другого пути, кроме выбранного мной: господин, придя к горе Маррай, принесет в жертву Единому не сына, а нерадивого слугу. Но что-то в голосе мерзкого Нахора остановило меня, я поддался его уговорам – и до сих пор не могу сказать, было ли это только моей глупостью или к ней примешивалась трусость.

Мои бородатые соплеменники, мудрецы и спорщики, не знают сомнений в своей правоте, оттого их сон крепок, а совесть чиста даже тогда, когда они глумятся надо мной и бросают в меня липкие косточки фиников. Они считают меня сумасшедшим и не верят ни одному моему слову. Они уверены, что господин давно уже похоронен в той пещере, что там же лежат и Шари, и другие родственники господина. Но это неправда, столь очевидная, что мне давно уже расхотелось разубеждать их. Господин жив, и я, верный слуга его, свидетельствую об э перед небом и слепящим мои глаза солнцем. Ибо не случилось такого, чтобы не была исполнена клятва, данная мною господину. Я, принесший господину клятву похоронить его в пещере, не видел его мертвого тела. Живы и Первенец, и Второй, и если бы той я ночью я не поддавался подлым уговорам Нахора, между ними не было бы вражды, и господину моему не пришлось бы выбирать между путем Страх и путем Любви. Под рукой Первенца неблагородное йеменское племя Джухрум стало богатым и могущественным, но и наш народ может гордиться Вторым и родом его.

А той ночью Нахор убедил меня, что господин обязан сделать свой выбор, ибо такова воля Единого. Как бы тяжело ни было господину, он должен оставаться в уверенности, что кровь его любимого сына будет пролита. Только так, в неминувости настоящей крови, рождаются подлинная Любовь и подлинный Страх. Через две ночи я, как и было обещано господину,

должен прийти к горе Маррай, где господин вынужден будет сделать выбор, и вместе с ним обретет величие, равного которому нет и не будет ни у кого из живущих.

Я хорошо запомнил тот день. Хотя лучше бы Единый, на радость моим соплеменникам, действительно отнял у меня и память, и рассудок. Гора Маррай, окруженная другими горами, почти сплошь покрытыми оливковыми рощами, была хмурой скалой с крутыми обрывами и огромными камнями, готовыми скатиться в пропасть. На этой горе уже давно стоит великий храм, перед славой которого меркнет слава храмов Бабеллы. Но тогда эта местность была пустынна; пастухи гнали стада мимо горы Маррай, торопясь спуститься вниз к воде, ожидавшей их в двух днях перехода.

Я сидел на камне над обрывом, и мне хорошо было видно, как мой господин одиноко шагал по тропинке вверх, поднимаясь к условленному месту. Временами его покачивало, и я вскакивал с места, боясь, что, ослепленный горем, он может упасть с обрыва. Но Единому было угодно, чтобы он исполнил свое предназначение. Иногда, повинувшись прихоти горной тропы, господин надолго исчез с моих глаз, и мне было слышно, как падали в пропасть камешки под его ногами, и как он скорбно бормотал что-то себе под нос.

Я терпеливо ожидал своего господина, но все же, когда он возник прямо передо мной, вздрогнул и был вынужден призвать все свое мужество, чтобы остаться на месте. Особенно тяжело было выдержать его взгляд, как будто молящий о пощаде и одновременно приказывающий исполнить свой долг. Впервые в жизни я чувствовал себя его палачом. Слезы вскипали у меня на глазах, но я взял себя в руки и твердо посмотрел на господина.

– Ты пришел, Лутия? – упавшим голосом спросил господин, и я понял, что больше всего ему хотелось, чтобы я нарушил данное ему обещание и, поднявшись наверх, он не обнаружил бы меня здесь. Мой господин еще не знал, что его верный слуга совершил куда более страшное преступление.

– Ты исполнишь волю Единого, – произнес я, чувствуя, как неудержимо дрожит мой голос, – так же, как твой слуга исполнил твою.

Господин побледнел, в ужасе отшатнулся от меня, и я чуть было не бросился к его ногам, чтобы, забыв все обещания, рассказать ему то, что знал. Но не успел. На тропинке за спиной господина появился приведенный мною Второй. Второй был растерян, на белом, как будто покрытом пылью пустыни лице выделялись красные обкусанные губы. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: он знает, зачем пришел сюда. И в то же мгновение откуда-то сверху раздался громкий крик. Я ожидал его, но все же затрепетал, увидев стоявшего на большом валуне Первенца. Его лицо было перекошено яростью. И сразу же из-за его плеча вынырнул Нахор. Он замахал мне руками и попытался что-то сказать, но Первенец оттолкнул его так сильно, что Нахор упал с валуна вниз и замер.

– Ну что же, отец, – даже не оглянувшись на Нахора, закричал Первенец, – теперь мы узнаем, кого из нас ты любишь по-настоящему!

Я ужаснулся тому, как Первенец говорил с господином, но тут же сообразил: разозлив отца, он пытается помочь ему исполнить волю Единого. Господин ничего не успел ответить своему Первенцу.

– Молчи, ты не смеешь так говорить с отцом! – раздался ломкий голос Второго. – И если он по великодушию простит твою непочтительность, то я научу тебя чтить отца!

В этот момент я ощутил гордость за Второго. В нем чувствовался воин, и дух его был таким же неукротимым и яростным, как и дух Первенца. Первенец бросил презрительный взгляд на Второго и, не удостоив его ответом, снова обратился к отцу, призывая его исполнить волю Единого так, как положено мужчине, не усомнившись и не дрогнув.

– Ко мне пришел твой человек, называющий себя Авилотом, и все рассказал, – Первенец усмехнулся и коснулся рукой своей молодой черной бороды. – Я готов, отец, если, конечно, готов и ты...

– Я убью тебя! Ты не смеешь! – Второй кинулся ко мне и попытался достать мой меч. Мне стоило немалых сил, не причинив ему боли, заставить отказаться от этого намерения.

– Ты сын служанки моей матери! – кричал Второй, вырываясь из моих объятий. – Ты не смеешь хвастать своим первородством, ибо это первородство раба. И как вырвавшийся на свободу раб, ты не знаешь удержу, пока тебя не отхлещут господским посохом!

– Уж не ты ли будешь указывать мне мое место, последыш? – взревел Первенец и прыгнул с валуна на землю. – Я, избравший путь Страха, сын своего отца и основатель великого народа, уже сейчас отмеченный Единым, пришел сюда, чтобы доказать право на первородство, пролив свою кровь! Но если желаешь, могу пролить и твою, мальчишка!

Первенец рванулся ко Второму, и я уже готов был встать между ними, но тут мой господин взял себя в руки.

– Замолчите! – страшно закричал он. – Замолчите вы оба! Я решил, как поступить!

Я испугался и обрадовался, потому что безудержное отчаяние господина сменилось столь же безудержным гневом. Только в таком гневе господин мог совершить великий поступок. Или попытаться совершить. Я был уверен, что Нахор не соврал мне, ибо не мог допустить, что Единый на самом деле ждет от господина такой кровавой и бессмысленной жертвы. Вспомнив о Нахоре и продолжая удерживать Второго, я обернулся, чтобы посмотреть, жив ли Нахор после падения. Но когда увидел его лицо, вздрогнул и выпустил Второго. Подлый, трижды подлый Нахор улыбался! И тогда я понял, что стал игрушкой в его руках, что никто не остановит убийство, что каков бы ни был выбор моего господина, в выигрыше останется он, Нахор. Ведь убитый Первенец освободит дорогу Второму, и вместе с ним и Нахору. А убитый Второй явится доказательством любви господина и к нему, и ко всему нашему народу. И тогда никто иной, как набившийся в родственники Нахор наследует господину.

Все эти догадки промелькнули в моей голове и, позабыв о Втором, я кинулся к Нахору, чтобы наконец избавить мир от этого негодяя. Но стоило

мне повернуться к нему, как кто-то сильно ударил меня сзади по голове. Позже именно рассеченная в этот момент кость на затылке стала поводом для насмешек и заверений в моем безумии. Но безумцы те, которые рассказывают придуманные истории, услышанные от тех, кому их рассказали другие безумцы; и цепочка эта столь длинна, что теряется во времени. У меня нет ни желания, ни сил доказывать им свою правоту. И все же меня, очевидца и участника всех событий, огорчает их глупость и слепота.

Я стар и знаю, что совсем скоро память перестанет досаждать мне. А то, что останется, останется там, где Единому угодно хранить все невысказанное. О, сколько раз приходилось мне выслушивать упреки, ибо потомки Первенца и потомки Второго оспаривали друг у друга право считать себя любимцами господина. А я, дерзкий, ничего не мог им ответить, потому что не знаю, что случилось после того, как я упал. Господин оставил меня там, на горе Маррай, сочтя мертвым, и только спустя время пастухи подобрали и вывели меня. Но я остаюсь верным господину до сих пор, хотя не видел его бесконечное множество лет. И не теряю надежды снова встретиться с ним. Хотя бы для того, чтобы сказать, что понимаю его и знаю, что кого бы он ни выбрал, он совершил великую жертву и стал почти равным Единому. И это самое главное. Стремясь обрести величие и любовь Единого, потомки его так же должны быть готовыми в муках принести в жертву самое дорогое, чтобы подняться туда, где нет Любви и Страх, а есть только граница, за которой кончается человек и начинается Единый...

Солнце уже не жжет, а яростно сечет меня, единственного, кто не укрылся от его жестокости, плетями своих лучей. Но стоит мне закрыть глаза, как я начинаю медленно погружаться в спасительную прохладу ночи и снова рассказываю терпеливым звездам свою историю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ

Я был уверен, что рано или поздно справлюсь с поставленной задачей. И действительно после долгих мук и сомнений сценарий был написан. Рита удивленно приподняла брови и бросила косой взгляд на Феликса, не то в сомнении, не то в восхищении качавшего головой. Оба они, казалось, не понимали, что делать с моим сценарием, но я видел, что он им нравится, хотя *такого* подхода к делу они не ожидали.

– Паша, – сказала Рита, – я с самого начала знала, что не зря обратилась к вам.

Рита разгладила ладонью лежавшую у нее на коленях страничку.

– Пожалуй, это действительно то, что нам надо. Конечно, выполнение такого ПВ связано с массой сложностей, но мне кажется, результат стоит того, чтобы повозиться. Должна сказать вам, что наш главный заказчик, который давно уже хотел получить нечто масштабное, полностью одобрил ваш

сценарий. Более того, выделил на его воплощение в жизнь необходимые средства, ну и задействовал связи на всех административных уровнях.

– Да уж, – пробасил Феликс, – повозиться придется всерьез. Ваша «Мышеловка» будет посильней шекспировской, я думаю.

– Вы угадали, – сказал я, упиваясь ощущением хорошо выполненной задачи, – именно «Гамлет» и натолкнул меня на эту идею. Ну и потом мне всегда была интересна толпа, ее психология и реакции. И хотя до некоторой степени сценарий напоминает то, что вы делали в ресторане, но...

– Но вы все творчески переработали, – подхватил Феликс и гулко рассмеялся.

– Толпа... – мечтательно протянула Рита. – Когда-то мы очень продуктивно работали с толпой. Хотя там все просто. Толпе нравится сила, потому что сила порождает страх, а страх... Вы, Пашенька, не представляете себе, какой почти наркотической притягательностью обладает страх! Вы заметили, людям обязательно нужно чего-нибудь или кого-нибудь бояться? От очередных американских горок до террористической атаки. Как вы там в романе написали? Путь Страх? В этом что-то есть, право слово...

Рита безмятежно улыбнулась и постучала пальцем по сценарию.

– Впрочем, рассуждения об обывателе, любящем сильную руку, давно уже стали общим местом. Однако то, что предложили вы, – Рита вдруг стала серьезной, ее взгляд кольнул меня, но она тут же отвела его в сторону, – сочетает в себе все необходимые элементы основательной ПВ. Поразительная догадка!

– Ну-ну, – Феликс покосился на меня, – не нужно портить сценариста чрезмерными похвалами. Ему еще работать, а он, того и гляди, нос задерет.

– Действительно, – спохватилась Рита, – давайте вернемся к делу. Значит так. Подготовка к этой ПВ займет примерно неделю. Понятно, что воплощать вашу «Мышеловку» лучше всего в субботу. Следовательно, у нас в запасе десять дней. Ну что ж, тем лучше. Вы, Паша, свою функцию выполнили, поэтому я предоставляю вам на эти дни оплачиваемый отпуск. Поезжайте куда-нибудь с женой, отвлекитесь... Вам незачем вникать во всякие мелочи, для этого у нас есть специалисты. Вам же будет отведена роль зрителя. Хотя ответственность за успех или провал ПВ вы, разумеется, разделите с остальными.

Рита мило улыбнулась, как бы давая понять, что ее слова не следует принимать всерьез, но я-то знал, что работа действительно предстоит нешуточная.

Той ночью мне не спалось, и я ворочался, пытаюсь представить себе, во что выльется придуманная мною «проверка на вшивость». Для Гамлета, как известно, «Мышеловка» добром не закончилась... Кошка Алиса сидела на прикроватной тумбочке и задумчиво разглядывала меня своими загадочными египетскими глазами. Смотри, говорил ее взгляд, ты мальчик взрослый, тебе решать. Но не страшно ли, погнавшись за белым кроликом, провалиться в какую-нибудь очередную нелепую дыру? Это только в сказках все заканчивается хорошо, а в жизни... Ох, смотри, не ошибись!

Я смущенно погладил по голове мудрую Алиску, которая что-то недовольно муркнула и мягко спрыгнула с тумбочки на пол. Но заснуть мне так и не удалось. Хотелось разбудить жену и все ей рассказать: моя осторожная и предусмотрительная жена наверняка воспротивилась бы этой затее. Но я устыдился собственных мыслей: нечего тут сомневаться, все уже решено! Лег на спину, глубоко вздохнул и приказал себе заснуть... Не мальчишка же я в самом-то деле. Хотя...

Однажды в тюрьму для отсидки на выходных пришел необычный персонаж. Вместе со мной в этом богоугодном заведении проводила субботу и воскресенье довольно пестрая публика. Тут были уличные хулиганы, были владельцы бизнесов - в основном, строительных компаний, что-то намутившие в своей бухгалтерии, были мелкие торговцы наркотой. Но этот милый еврейский старичок совсем не походил на них. Типичный образчик боящегося всего на свете американского обывателя, которого призвана изучать наука виктимология. Когда я спросил его, как он оказался в тюрьме, старичок потупился и не сразу ответил, что посажен за нелегальное владение огнестрельным оружием. Я не сильно удивился, потому что незадолго до встречи с ним столкнулся в тюрьме с другим солидным дяденькой, который приехал из Техаса навестить внуков, но забыл оставить дома вполне легальный в его штате пистолет. Дяденька был арестован сразу на выходе из автобуса. За свою забывчивость он получил три месяца тюрьмы.

Так что на еврейского старичка, хранившего в своем статен-айлендском домишке нелегальное ружьишко, никто бы не обратил особого внимания, если бы не вездесущий интернет. Мои сокамерники - люди куда менее доверчивые, чем я, - справились о старичке в Гугле и выяснили, что на самом-то деле он отбывает наказание по довольно неприятной статье - за соращение несовершеннолетних. Вроде бы на собраниях в синагоге мой старичок трогал маленьких мальчиков там, где их трогать не следует.

Я оказался в пикантной ситуации. С одной стороны, я старался опекать этого мало приспособленного к тюремным нравам пожилого еврея, а с другой... С другой стороны, при встрече мне было противно подавать ему руку. Конечно, те восемнадцать выходных, которые старичок должен был провести на Райкерс-Айленде, никак не соответствовали тяжести приписываемого ему преступления: педофилов в этой стране карают куда как более сурово. И даже то, что старичок скрыл от меня свою позорную статью, тоже было понятно, но... Я никак не мог пересилить отвращение, которое стал вызывать у меня этот внешне безобидный смешной человечек, говорящий по-английски с характерными идишскими интонациями.

Однажды здоровенный, но очень глупый мой сокамерник, приезжавший на отсидку на новеньком «мерседесе», явился в тюрьму совершенно пьяный. К моему удивлению, охрана вяло отреагировала на то, что он орал, бил ногами в дверь камеры и поносил офицеров службы коррекции всех вместе и каждого по отдельности. Подогретый алкоголем и безнаказанностью, он полез разбираться с моим старичком.

- Т-ты, грязный педофил, - заорал он с перекошенным лицом, - я т-те щас...

Бедный старичок сидел ни жив ни мертв. Выбора у меня не оставалось. Пришлось встать и заявить, что хотя мне и самому противно, но трогать старичка не позволю. Мужик недобро посмотрел на меня, но, видимо, ввязываться в серьезные разборки ему не хотелось. Он был сильным, но не особенно храбрым. Поэтому, проворчав что-то про евреев, вечно поддерживающих друг друга, он улегся на длинную грязную скамью и задремал. Перепуганный до крайности старичок тут же пожаловался, что его жизни угрожают, и попросился в отделение усиленной охраны. Его перевели туда на все оставшиеся выходные, навсегда избавив меня от сложной моральной дилеммы.

На следующее утро мужик протрезвел и обеспокоенно расспрашивал сокамерников о том, что он делал в пьяном виде накануне вечером. Ибо о собственных безобразиях почти ничего не помнил. Похоже, он действительно побаивался последствий своей молодецкой удали.

– Да, – не удержавшись, мстительно сказал я, – ты был просто ужасен. Такое вытворял, что даже мне стало страшно.

Вся камера – молодые и крепкие закаленные улицей пареньки – рассмеялась: представить себе, что меня испугал пьяный амбал, эти суровые ребятишки могли только в шутку. А я, взрослый вроде бы человек, был всерьез польщен. Ну чем не мальчишка?

...Та майская суббота началась для меня ранним утром. Хотя ПВ была назначена на два часа дня, я не мог спать: задыхался от волнения, стены квартиры, казалось, давили на меня. Тогда я решил вместо того, чтобы мучиться и нервничать дома, отправиться туда, где все должно было произойти – в Центральный парк. На свежем воздухе, среди людей, подумал я, будет легче отвлечься, да и оставшееся до акции время пройдет быстрее. От Риты я знал, что ПВ решено было провести в восточной части Центрального парка, неподалеку от Пятой авеню и Семьдесят Пятой улицы – рядом со скульптурной композицией «Алиса в Стране чудес» и прямоугольным искусственным прудом, на берегу которого и будет разворачиваться основное действие.

В Манхэттен я приехал около девяти часов утра, когда еще не сожженный безжалостным летним солнцем Центральный парк был окутан нежной зеленью и прохладой. Собачники водили по аллеям своих веселых дружелюбных питомцев, подтянутые бегуны сосредоточенно трусили во все стороны, молодые мамы стайками сидели на скамейках, покачивая коляски и наперебой обмениваясь важнейшими подробностями из жизни своих карапузов.

Медленно прохаживаясь вдоль пруда, я пытался представить себе, что здесь произойдет всего через несколько часов. Дойдя до «Алисы», я остановился и невольно вспомнил ночное предостережение своей Алиски. Да, тут действительно можно провалиться в такую Страну чудес, что... Имею ли я право участвовать в столь радикальной проверке на вшивость? Конечно, я всего лишь написал сценарий, но ведь и инженер, создававший печи для нацистских концлагерей, напрасно считал бы себя невиновным в смерти миллионов...

– Ах, Пашенька, Пашенька... – услышал я знакомый голос.

На скамейке неподалеку от «Алисы» сидела Рита.

– Конечно же, вы, как говаривали в старину, испытываете страшное смятение чувств. И напрасно, дорогой мой, совершенно напрасно.

– А как вы... – начал было я, но Рита многозначительно покачала головой и, как и всегда, угадала все, что я хотел сказать.

– Милый Паша, – учительским тоном продолжила Рита, – тот факт, что вы появились здесь задолго до начала акции, говорит сам за себя. Ну и, конечно, воспаленный взгляд и тени под глазами тоже выдают ваше беспокойство. Вы думаете, что напрасно взялись за такой сценарий, что никакие деньги не стоят того, чтобы подвергать «проверке на вшивость» большую толпу ни в чем не повинных людей... Так ведь? Ну вот, если угодно, я вам объясню кое-что. Подумайте о том, что наша акция – не только проверка, она обладает еще и, скажем так, терапевтическим эффектом. Иными словами, люди, подвергшиеся проверке, выносят из нее для себя что-то важное. Кроме того, нашему главному заказчику не зря понравилось, что проверка выходит за рамки «русского Нью-Йорка». Нужно расшевелить народ, дать ему возможность нравственного выбора, возможность доказать самому себе право на избранность, которой так гордятся американцы...

Никогда еще я не видел Риту такой возбужденной. Глаза сверкали, а руки судорожно стискивали сумочку крокодиловой кожи. Она выпрямила спину и, гордо выпятив подбородок, смотрела куда-то поверх моей головы. В это время на площадке рядом с «Алисой» появился небольшой зеленый грузовичок паркового хозяйства, и четверо рабочих в комбинезонах стали неторопливо сгружать части какой-то металлической конструкции. В двоих рабочих я с удивлением узнал Феликса и толстяка Гену. Феликс заговорщицки подмигнул мне и, явно забавляясь, тут же уронил свой конец длинной решетчатой панели, которую нес вместе с каким-то черным пареньком. Панель с таким грохотом ударилась о плитку, которой была выстлана площадка, что бегуны удивленно приостановились, собаки настороженно вскинули головы, а мамы невольно придвинули к себе поближе коляски с детьми. Феликс огулительно захохотал. Рита недовольно скривила губы, поднялась со скамейки и, озабоченно взглянув на часы, сказала, что очень торопится: нужно успеть сделать массу дел.

– Это вы, Паша, закончили свою работу, а мне еще хлопотать и хлопотать...

Рита чопорно склонила голову и направилась к аллее, уводящей вглубь парка. Обернувшись к Феликсу, я натолкнулся на такой выразительный взгляд, что мгновенно понял, кто тут лишний. Не желая вертеться под ногами, я быстро покинул это место и отправился искать какой-нибудь уже открытый бар, чтобы с помощью пары рюмок успокоить вконец расстроенные нервы.

Обычно напряженное ожидание растягивает время, как мальчишка резинку рогатки, чтобы потом, когда оно, ожидание, становится невыносимым, молниеносно сократить его до короткого всплеска стекла, разбитого в соседнем окне... Но в этот раз мне почудилось, что я едва успел немного протрезветь после трех выпитых натошак сухих мартини, а часы

показывали уже половину второго. Пора было отправляться на место действия.

Когда я снова появился у «Алисы», металлическая конструкция была уже собрана. Это был невысокий помост с двумя ажурными мачтами по краям, на которых висели мощные динамики. Из них лилась какая-то легкая музыка. Посреди помоста стоял стол с микрофонами и несколько пластиковых стульев. Кулисы изображала плотная материя-задник, прикрепленная к высокой раме. На ней висел большой, написанный легкомысленными разноцветными буквами плакат: «Начало лета – праздник для детей и их родителей». Феликс с деловым видом сновал по помосту, тянул какие-то провода, то и дело проверял работу усилителей.

– Раз-два... – говорил он по-русски, доверительно склонив голову к микрофону, – Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть... несчастье, вечер – семь...

Эти слова показались мне удивительно знакомыми, но времени вспоминать не было: праздный субботний люд, привлеченный громкой музыкой, уже толпился перед помостом. В ожидании начала представления капризничали от нетерпения дети. Полицейские выходили из микроавтобуса и выстраивались перед сержантом для получения инструкций. Ох, как нехорошо... Эта акция могла пойти по непредсказуемому пути. В сценарии я описал возможные варианты развития событий, но теперь, когда до начала оставалось всего несколько минут, с ужасом понял, что предусмотрел далеко не все. Мне снова стало страшно, захотелось уйти, убежать, оказаться непричастным к тому, что готовилось сейчас для ничего не подозревающих зевак. Ну почему, почему я не подумал об этом, когда сочинял свой треклятый сценарий?! Наверное, мне очень хотелось впечатлить Риту. Внезапно я ужасно разозлился на нее. Ведь это Рита своими льстивыми речами породила во мне безумное желание выдать *такую* идею проверки на вшивость.

Потоптавшись на месте и с трудом преодолев охватившую меня нерешительность, я отправился за кулисы. Нужно немедленно, сейчас же переговорить с Феликсом! За кулисами суетились рабочие, передвигая и распаковывая большие картонные коробки. А еще четверо собирали что-то вроде небольшого домика из странных, похожих на сухую штукатурку, но очень тяжелых плит. Я удивился: такого домика в сценарии не было! Но сейчас мне было не до того. Феликса исчез, и это было странно... Я уже хотел было раздвинуть тяжелую материя задника, чтобы еще раз посмотреть на сцену, но не успел. Потому что совсем рядом, отделенные от меня только этой самой материей, разговаривали двое, и первая же услышанная фраза заставила меня превратиться в соляной столб.

– Главное, не давайте Павлу возможности вмешаться, – торопливо говорил женский голос, и я сразу узнал Риту. – Он, как автор, может обидеться, что мы несколько изменили его сценарий, даже не поставив его в известность.

– Да уж, «несколько», – протянул хорошо знакомый мне бас. – Ох, будет дело... А ты уверена, что эта штука взорвется достаточно убедительно?

– Абсолютно уверена! Резкое повышение радиационного фона гарантировано. Это не очень опасно, тем более, что речь идет о часе,

максимум, полутора часах облучения. Ну сколько времени потребуется федералам, чтобы разобраться? Кстати, убежище для нас готово?

– Да, почти собрано. Но там будет тесновато... Мы должны все это писать на видео?

– Нет, зачем же? – Рита сделала паузу, и я почувствовал, что она улыбнулась. – Это сделают и без нас. Только представь себе, какой резонанс вызовет теракт в Центральном парке с использованием «грязной» бомбы. Даже если федералам захочется что-то утаить от широкой общественности, это вряд ли получится: журналистов тут достаточно, я уж позаботилась. Так что просто отсидимся за свинцовой стеночкой и Пашу с собой прихватим: он еще молод, зачем ему лишние рентгены?

– Бедный Паша! – рассмеялся Феликс. – Хотел устроить проверочку небольшой толпе, а мы взяли и укрупнили масштаб проверки до размеров, по крайней мере, штата... Ладно, кажется, пора начинать.

– Да, – голос Риты вдруг сделался неузнаваемо жестким, – действительно, пора. Начинай – и не забудь о Павле. Чует мое сердце, этот добрый молодец может отчудить что-нибудь неожиданное.

Рита и Феликс отошли от задника, и я услышал, как Феликс снова хмыкает в микрофон, желая привлечь внимание собравшейся толпы. От ужаса я даже не сразу осознал, что должно случиться. Но постепенно до меня дошло, что Рита с Феликсом вместо того, чтобы использовать мой сценарий, на его основе создали свой, кардинально отличавшийся от того, что предлагал я. Долго размышляя, какой именно проверке следует подвергнуть толпу, я понял, что самым серьезным грехом для большой массы народа, будь то зеваки в Центральном парке или нация в целом, является жадность. Поэтому наиболее популярными всегда были те лозунги, которые играли на человеческой алчности – от «кто был никем, тот станет всем» до обещаний снизить налоги. Здравый смысл в таких случаях всегда приносится в жертву...

По моему замыслу ведущие должны были собрать как можно больше зрителей, что в субботний весенний вечер сделать совсем несложно. Предполагалось, что многие придут целыми семьями, с детьми и собаками. А потом всем желающим станут бесплатно раздавать мягкие игрушки – славных плюшевых козчиков с грустными и добрыми человеческими глазами. Козлики, совсем не похожие на ту дешевую продукцию, которую обычно продают на улицах, будут сделаны по специальному заказу. Несколько тысяч мастерски изготовленных козчиков, почти произведения искусства! При надавливании на животик игрушки должно было раздаваться очень натуральное бебеканье, поролоновая набивка козлика должна была имитировать настоящие внутренности с пакетиком красной краски вместо сердца... И вот когда толпа вполне оценит даровую игрушку, а детишки, освоившись с новым дружком, доверчиво прижмут его к себе, чтобы унести с собой, ведущий объявит, что в одном из козчиков спрятана бумажка, по предъявлении которой ее владельцу немедленно будут выданы двадцать тысяч долларов наличными. Вот тут-то и наступит момент истины. Я долго размышлял, какую сумму назначить в качестве приза. Она не должна была быть чрезмерно высокой, потому что обещанные миллионы могли

соблазнить кого угодно, но и не маленькой: ради ста долларов состоятельные манхэттенские жители не стали бы портить превосходную вещь. Двадцать тысяч наличными показались мне той самой оптимальной суммой.

Перед моим мысленным взором вставали удивленные лица людей, которые пытались решить, стоит ли отнимать у своего ребенка игрушку ради шанса найти там вожделенный билетик. Я видел, как они уговаривают детей, обещая им, что разорванный и выпотрошенный козлик может принести им куда больше подарков. И как потом они, расковыривая «окровавленные» козликовы внутренности, вожделенно ищут заветную бумажку...

Самое, как мне казалось, пикантное заключалось в том, что коэффициент жадности толпы можно было вычислить при помощи самой обычной арифметики: зная общее количество розданных зверюшек, было бы легко подсчитать принесенных в жертву, валявшихся на земле или брошенных в урну козликов.

В самую последнюю минуту я вдруг понял, что нельзя, просто нечестно подвергать такой подлой проверке тысячи людей, заставляя их терять самоуважение на глазах у собственных детей. Более того, поставив себя на их место, я понял, что и сам бы, наверное, поддался искушению.

Но то, что из этого относительно невинного сценария решили сделать Рита с Феликсом, это просто... У меня не оставалось времени на рассуждения, перед глазами мелькали образы охваченной паникой беспорядочно мечущейся толпы, потерянных в давке детей и собак. Это уже не «проверка на вшивость», это... И я вдруг с ужасом осознал, *кто* может быть заказчиком этой акции и зачем она ему нужна. И тут же время опять растянулось. Я уже хотел было выскочить на сцену и, схватив микрофон, предупредить людей, но сообразил, что только сыграю на руку Рите: после такого предупреждения паника начнется без всяких взрывов.

В отчаянии завертев головой, я увидел Феликса, который со своей обычной улыбочкой отходил от бронзового памятника. И сразу понял: бомба там, у сидящей на грибе Алисы. Это и понятно, ведь жертвы взрыва не предусмотрены их сценарием, следовательно, спрятанная между бронзовыми фигурками бомба никого не покалечит; толпа услышит громкий взрыв – и тут же пойдет волна радиации. Не способной нанести серьезного ущерба здоровью, по словам Риты. Ну или почти не способной...

Всю жизнь я опасался собственной непредсказуемой реакции на смертельную опасность и часто думал о людях, способным мгновенно, без колебаний пожертвовать жизнью, накрыв своим телом готовую взорваться гранату. Я подозревал, что обладаю другим видом мужества, когда воле требуется некоторое время для преодоления сопротивления не желающего подвергнуться риску организма. Но сейчас мне казалось настолько важным сорвать готовящуюся акцию, что о своих сомнениях я даже не вспомнил. Я бежал к «Алисе» и представлял себе, какую мину скорчит Рита, узнав, что столь тщательно подготовленная проверка не состоится. Я хотел доказать этой странной старухе с неестественно молодыми глазами, что она не кукловод, а я не кукла, что ни хрена у них не получится...

– Суки, – хрипел я на бегу, испытывая странное, почти мазохистское наслаждение, – какие же вы суки!

Коробка лежала прямо под бронзовым грибом – рядом с белым кроликом. От обычной обувной ее отличала только «веселенькая» черно-желтая маркировка «осторожно: радиоактивно», наклеенная сверху. На какую-то долю секунды я замер: что-то меня насторожило. Но размышлять было некогда. Мальчишка, как будто растянувший резинку-время, опять выпустил ее из рук, и оно полетело, нагоняя само себя. Я схватил коробку, прижал ее к груди и помчался напролом через кусты, только несколько мгновений спустя сообразив, что лучше всего бомбу просто утопить. Но не здесь, не у «Алисы», где толпится народ с детьми, а там, дальше, в большом и глубоком центральном пруду. И тогда, скорее всего, ожидаемого эффекта не получится. Если же бомба взорвется у меня в руках... Нет, об этом лучше не думать! На бегу я прислушался, но так и не смог понять, тикает ли это часовой механизм или стучит мое сердце. На всякий случай я сторонился людных аллей и бежал, бежал не останавливаясь. Далеко за спиной оставалась «Алиса», глуше становились звуки музыки, а меня постепенно охватывало странное веселье. Мне чужд плакатный патриотизм, но люди, какими бы они ни были, не заслуживают такого розыгрыша, и *тот, кто заказал все это*, должен знать, что людей нельзя *так* проверять на вшивость ... Может быть, одного человека еще можно, а вот сразу всех – нельзя, непозволительно даже самому высокому заказчику. Потому что результат может оказаться непредсказуемым...

То ли на меня начала действовать радиация, то ли просто не выдержали исхлестанные взрывом нервы, но я вдруг ясно увидел описанный мною в романе каменистый склон горы и людей в древних одеждах – статного старика с потерянными взглядом и его побледневших от страха и ярости сыновей. Никогда не мог понять это требование принести в жертву того сына, который должен продолжить род. А тут вдруг сообразил: осознанная необходимость жертвы напроочь перечеркивает ее ценность и значение. Только безрассудно и бессмысленно занеся над сыном нож, можно увидеть, как неторопливо перепрыгивает с камня на камень спасительный козленок. Тогда рука с ножом опускается, не пролив крови, и возносится хвала Тому, кто закалил сердца, не позволив, тем не менее, свершиться убийству. Тогда приходит понимание, что нет ни пути Любви, ни пути Страх. И что глупо было разделять эти понятия, потому что главное – это умение переступить через свою слабость и неверие...

Тут я остановился, как будто с размаху налетел на стену. Я все понял. Торопливо разорвав обертку бомбы, я отбросил крышку и увидел, что в коробке лежит кирпич, а рядом с ним мирно тикает неведомо как вынырнувший из глубины времен обычный советский будильник «Слава».

Еще не зная, как ко всему этому относиться, я отбросил ненужную больше коробку и услышал, как всхлипнул раздавленный кирпичом будильник. И дрогнула под ногами земля, и спустя долю секунды меня накрыл тяжелый звук мощного взрыва. Неужели они отвлекли меня пустышкой и взорвали настоящую бомбу?! Но зачем?! Чтобы доказать, что я

неправ, что путь Страха есть, что он восторжествует?! Ах я, наивный мальчишка!..

Наступила пауза, долгая томительная пауза, которая оборвалась сверлящей уши сиреной скорой помощи...

Я открыл глаза, услышал промчавшуюся по улице «Скорую помощь» и с облегчением понял, что это был только сон. Я лежал в своей постели, а кошка Алиска по-прежнему многозначительно смотрела на меня своими зелеными глазами. Подняв руку, чтобы протереть лицо, я обнаружил какую-то бумажку, крепко зажатую в ладони. Это была записка, написанная изящным, несколько старомодным женским подчерком.

«Милый Пашенька! – говорилось в записке. – Вы должны извинить нас за столь жесткую ПВ, жертвой и главным действующим лицом которой вы стали по причинам... Впрочем, через какое-то время вы сами все поймете.

Еще раз прошу простить нас за сыгранную с вами шутку.

С восхищением вашим талантом,
Маргарита»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ЭПИЛОГ

В то утро я проснулся совершенно разбитым. Никогда еще мне не приходилось видеть столь длинных и правдоподобных снов. Все это было странно. Ритино послание окончательно запутывало ситуацию. Я подумал было, что заснул с запиской в руках, но не мог вспомнить никакой бумажки, которую брал бы с собой в постель. Кроме того, текст записки бесспорно связывал сон с реальностью. Необходимо было срочно увидеться с Ритой или Феликсом. Может быть, мне удастся получить хоть бы какое-нибудь разумное объяснение всему тому, что происходило со мной – во сне или наяву.

Взглянув на часы, я сообразил: день сегодня рабочий и, значит, я немилосердно опаздываю. Вскочил с постели и помчался принимать душ.

Из дома я выбежал только без десяти минут девять. А потом начались мелкие, но досадные недоразумения. Как будто кто-то не желал, чтобы я в этот день попал на работу вовремя. Пытаясь завести машину, я обнаружил, что в баке нет бензина. Раздосадованный, я помчался к остановке автобуса. По моим подсчетам я должен был добраться до офиса не раньше половины десятого. Автобус пришел минут через двадцать, когда я уже просто изнывал от нетерпения. Ненавижу опаздывать!

Набрал Ритин номер, чтобы предупредить об опоздании, но никто не ответил. Рита говорила мне, что не любит пользоваться сотовыми телефонами, что они вызывают у нее невроз и жуткую мигрень, и поэтому звонить ей следует только в самом крайнем случае. Ну что ж, решил я, приеду с опозданием и в качестве оправдания расскажу приснившийся мне сценарий. Думаю, наяву Рита тоже его оценит. Правда, оставалась загадочная записка.

Но уже неплохо зная Риту, я надеялся, что она сможет все объяснить самым логичным образом. А если выяснится, что работа на Риту и была «проверкой на вшивость» – только проверяли меня самого? В таком случае, судя по прощальному тону записки, я не оправдал надежд нанимателя. И от расстройства – ведь обидно потерять такую работу! – забыл, что держал в руке записку... Но тогда получается, что меня уволили... как же я сразу не сообразил?! Зачем же я еду в офис? Нет, все правильно, нужно во всем разобраться...

На Ошеан-Парквей из-за ремонта были перекрыты несколько полос, и автобусу пришлось встать в длинную неторопливую очередь из автомобилей. Я уныло смотрел из окна на рабочих в желтых жилетах и касках, которые с ленцой прохаживались вдоль огороженной части дороги и, судя по их виду, даже не собирались ничего ремонтировать. На секунду мне почудилось, что я узнал долговязую фигуру Феликса. Но тут же понял, что ошибся: мужик оказался афроамериканцем и, когда автобус проползал мимо него, поднял голову и улыбнулся. Конечно, это был совсем незнакомый человек.

Когда я подошел, наконец, к жилому дому, в котором располагался офис «Золотого кита», часы показывали без четверти десять. Понимая, что торопиться уже незачем – лишняя пара минут ничего не изменит – я, тем не менее, мысленно подгонял лифт, проговаривая про себя свое объяснение Рите. Внутренний монолог настолько увлек меня, что я даже проскочил знакомую дверь офиса – и чуть было не стал открывать своим ключом соседнюю. Но вот она, наша дверь, вот и царапина слева, у петли. Рита рассказывала, что когда они только въезжали в эту квартиру, дверь пришлось снимать с петель, чтобы внести большой компьютерный стол, и Феликс со своей всегдашней небрежностью умудрился поцарапать и дверь, и столешницу, и сам компьютер.

Но ключ почему-то не хотел входить в скважину. Да что ж это со мной сегодня?! Пока я пытался сообразить, тем ли ключом открываю замок, за дверью послышались шаги, щелкнула задвижка, и дверь приоткрылась. Я собирался начать свое объяснение с шутливого заявления, что, дескать, не опоздал, поскольку начал работать еще дома, ночью, во сне. Но вместо Риты или Феликса передо мной стоял незнакомый человек. Это был маленький худенький старичок, почти гном, с венчиком легких белых волос вокруг лысины. С недовольным и подозрительным видом гном взглянул на меня и покачал головой. Я оторопело смотрел на него, ничего не понимая. Из-за его спины едко пахло только что подгоревшим маслом и застарелым запахом стариковского жилья. Так никогда не пахло, да и не могло пахнуть в офисе у аккуратистки Риты. Я перестал что-либо понимать и только недоуменно хлопал глазами.

– Э-э, – проскрипел тем временем старичок, – молодой человек не туда попал? Или вы имеете дело к старому Исааку?

И интонации, и кривая улыбочка старичка показались мне насквозь фальшивыми. Так говорили еврей-ювелиры в советских фильмах с легким антисемитским душком. Да и сам старичок мог оказаться кем угодно. Ведь я уже кое-что знал о возможностях перевоплощения, которыми располагала

Рита. От таких мыслей я окончательно растерялся. Вырвавшийся из сна абсурд, кажется, начал догонять меня наяву.

– А-а, скажите, – залепетал я, уже понимая, какой получу ответ, – где Рита? Тут ведь был офис «Золотого кита»...

– Какого кита? – старичок попытался грозно нахмуриться, но вместо этого соорудил жалобную физиономию. – Что вы мне голову морочите? Никакого кита тут нет! Ни кита, ни кота, ни офиса... Здесь частная квартира, и последние двадцать пять лет здесь живу я, Исаак Абрамович Гогенцоллерн. А если вы пришли от этого мерзавца Яшки, так передайте ему, что папа его не простил и не простит! Ну как можно? Его Лея такая замечательная жена, а мой шлемазл связался с этой Рэйчел... Ее ж весь Брайтон знает! Я даже не уверен, что она – наша... Этот негодяй пользуется тем, что у бедной Леи плохое зрение... Я ему сразу сказал – ноги твоей не будет в моем доме, пока...

– Изя! – донеслось вдруг из недр квартиры, – Изя, с кем ты там так долго разговариваешь?

– Рива, тут пришли от Яши! – старичок вдруг улыбнулся и заговорщицки подмигнул мне. – По-моему, он хочет помириться с женой!

– Ой, – раздалось в ответ, – а кто это пришел?

– А я знаю? – ответил старичок и подмигнул мне еще раз. – Кажется, Яшкин приятель, я его уже где-то видел. Ну что вы стоите на пороге, молодой человек? Заходите уже, раз пришли...

– Нет-нет, – попятился я, чувствуя, что еще немного, и абсурд окончательно поглотит меня, – спасибо, но вы перепутали, я не от вашего Яши, не имею чести быть знакомым...

– Да-а? – недоверчиво протянул старичок, и вдруг цепко ухватил меня сухой лапкой за край футболки. – Так, значит, вы от него! Я так и думал!

– От кого – от него? Я... я просто дверью ошибся! – попытался оправдаться я, понимая, что предсказание мудрой Алиски сбывается, и я сейчас, как в кроличью нору, проваливаюсь в какую-то нелепую историю.

– Не дурите мне мозги, вы же его адвокат? Так вы ему передайте, – не выпуская моей футболки, мстительно сказал старичок, – что отец все завещал мне, а ему пусть достанутся наши болячки! Он вам, наверное, рассказал, что мы с ним родные! Так не верьте! Сейчас я вам все объясню. Мой папа, чтоб ему там лежалось, был еще тот ходок... Ну, вы меня понимаете. Так вот, какая-то полуграмотная домработница из Узбекистана взяла и родила ему ребенка. Казалось бы, какой пассаж, ну родила и родила. Но моя мама долго не могла забеременеть, и папа даже обрадовался, что у него появился-таки сын. А потом родился я. И у отца получилось вроде как две семьи. Так одну семью ему пришлось скрывать, вы понимаете? Нет, вы не понимаете! Это теперь имей хоть три семьи, хоть десять, кому какое дело? А тогда это было опасно. Тогда все было опасно, молодой человек... В тридцать восьмом папу наконец посадили, и вот вам вопрос: кого им было считать семьей врага народа?

Старичок с хитрецей посмотрел на меня, как будто наслаждаясь моей растерянностью.

– Как вы понимаете, у папы таки хватало проблем в этот момент и без нас. Но он рассудил правильно. Он и так уже был английский шпион, зачем

ему еще и аморалка? Так что семьей врага народа он выбрал нас с мамой... Что мы с этого поимели, вы знать не хотите... Правда, ту семью тоже арестовали. Говорят, кто-то настучал. Но своей настоящей семьей папа все-таки считал нас!

А потом, когда все кончилось, когда мама умерла, а я каким-то чудом нет, этот, с позволения сказать, тутерганеф пришел ко мне и заявил, что наш папа все завещал ему! Мы, говорит, кровные братья. Ну? Как вам это нравится?!

Мне это не нравилось. Мне все это категорически не нравилось. Я попытался высвободить футболку из стариковских рук и объяснить ему, что никакого отношения к его единокровному брату, а равно и к юриспруденции не имею.

– Странно... – старичок наконец-то выпустил из кулачка край моей футболки и озадаченно потер лоб. – Я же вас точно где-то видел...

Он поднял голову, и в его выцветших блекло-голубых глазах было нечто такое, что заставило меня вздрогнуть. Этот комичный крошечный старичок, казалось, хотел о чем-то предупредить меня, заранее с сожалением понимая, что ни к чему его предупреждения не приведут. Я замер было, стараясь разгадать, что скрывается за этим сгустившимся абсурдом, но тут в прихожей за спиной старичка раздались шаги, и я быстро ретировался, понимая, что, оказавшись вовлеченным в беседу с женой Исаака Абрамовича, окончательно растеряю остатки здравого смысла.

Я мчался по длинному коридору к лифту, мысленно заклиная его поскорее приехать, чтобы я мог скрыться от семейства Гогенцоллернов, от их детей и единокровных братьев...

– Молодой человек! – донеслось мне вслед. – Молодой человек, я вспомнил! Вас я никогда не видел, но у моего папы, земля ему пухом, был заместитель... Мой папа был ба-а-альшой человек, у него были и заместители, и секретарши, и курьеры! Так вот, вы похожи на одного его заместителя, как будто родной сын... Правда, у него не было детей, он и не мог их иметь, не про нас будь сказано... Но вот что я вам доложу...

На мое счастье двери лифта спасительно распахнулись, стоило мне нажать на кнопку. Я влетел в кабину и нажал на кнопку первого этажа, но еще слышал, как к старичку присоединилась жена и прокричала, чтобы я передал их Янкеле, что отец на него почти не сердится, пусть уже приходит, только пусть не берет с собой эту босячку Рэйчел, потому что она тогда лично выдерет ей, мерзавке...

Что мадам Рива выдерет босячке Рэйчел, я так и не узнал: лифт увез меня подальше от беспокойного семейства Гогенцоллернов.

Я стоял на тротуаре залитого солнцем Брайтон-Бич и не мог прийти в себя. Где Рита? Что все это означает? Что все это, черт возьми, означает?! Но делать было нечего, и я неторопливо побрел к остановке автобуса. Ясно было только одно: я снова остался без работы и, скорее всего, уже никогда не увижу ни Риту, ни Феликса, ни их помощников. Все кончено, и я даже не знаю, как к этому относиться.

Прошел месяц. Несколько раз я пытался дозвониться до Риты, но механический голос на фоне неведомо откуда взявшейся мелодии, в которой я с трудом опознал пролог к опере «Князь Игорь», сообщал, что набранный мною номер отключен. Я по-прежнему ничего не понимал. Было обидно, что так ни разу и не успел получить обещанную высокую зарплату. Впрочем, эту зарплату я, наверное, и не заслужил. Буквально через несколько дней мне начало казаться, что «Золотого кита», «проверки на вшивость», да и самой Риты никогда не существовало; что я сам все это придумал от скуки, продолжая прилежно трудиться в медицинском центре доктора Коца. И даже пожар, уничтоживший этот центр, представлялся мне всего лишь поводом, придуманным Коцем специально для того, чтобы меня уволить...

Но теперь все изменилось, и финансовые проблемы больше меня не волнуют. Давно заржавевшие шестерни судьбы, скрипнув, вдруг сдвинулись с привычного места, разошлись, завертели и, набирая обороты, как будто наверстывая упущенное, понесли меня в голубые и розовые дали. На следующий день после исчезновения Риты мне позвонили из одного крупного американского издательства с предложением опубликовать мой роман. Даже подписав контракт и получив крупную сумму денег в качестве аванса, я не мог поверить в случившееся. И только когда небольшой отрывок из романа, переведенный на английский язык, был принят журналом «Нью-Йоркер», я стал более или менее адекватно воспринимать происходящее. А потом напечатанный в новом номере журнала отрывок вызвал столь бурную реакцию читающей публики, что некоторые критики стали прочить роману великое будущее, а его автору чуть ли не Нобелевскую премию. И тогда я почувствовал себя богатым и знаменитым. И начал подозревать, что свою «проверку на вшивость» прошел успешно.

Я пишу эти строки ярким солнечным утром, сидя в шезлонге на веранде своего номера в Ницце, в знаменитом отеле «Негреско». Снизу доносятся крики чаек и загорающих на пляже людей. Я понимаю голову и, шурясь от солнечных зайчиков, которые игриво посылает мне теплое бирюзовое Средиземное море, надолго задумываюсь. И видится мне, что в той точке, где неуловимо сходятся воды с небесами, появляется как будто ниоткуда маленький деревянный самолетик ИЛ-14. Деловито жужжа пропеллерами, он летит прямо на меня, так низко, что мне становится не по себе.

Приблизившись, самолетик, как ни в чем не бывало, делает крутой разворот, плавно снижает скорость и, словно лимузин к подъезду, подлетает прямо к моей веранде. Овальная дверца откидывается, и в проеме появляется маленький мальчик с деревянным автоматом ППШ на груди. А рядом с ним, чуть придерживая ребенка за плечо, стоит крепкий смуглый человек в старой рваной хламиде с потемневшим от времени мечом у пояса. Его черные горящие глаза на гладком, лишенном растительности лице устремлены на меня, а узкие губы слегка улыбаются. В растерянности я смотрю на них, потом оглядываюсь и вижу в глубине номера только что вышедшую из душа жену, вытирающую волосы полотенцем, а рядом с ней внимательно следящую за

мною кошку Алиску. И сразу все понимаю. Мне пора. К счастью, я могу взять с собой тех, кого люблю.

Но прежде чем мы втроем сядем в самолетик и никогда больше не увидимся с вами, я должен признаться: не было никакого успеха. Денег и известности роман мне так и не принес. Да и не для того он был написан. Так что и море, и Ницца, в которой я бывал давным-давно, – все это неправда. Я вас обманул для того, чтобы возникла хотя бы иллюзия хэппи-энда, столь необходимая каждому из нас.

На самом деле неунывающий доктор Коц, успевший за месяц открыть новый центр взамен сгоревшего, снова пригласил меня на работу. Правда, платит он теперь на треть меньше, чем раньше, объясняя снижение зарплаты большими финансовыми потерями. Должно быть, Ритина «проверка на вшивость» ничему его не научила... Да и вообще мне кажется, что ни одна «проверка на вшивость» не смогла изменить природу человека, начиная от Адама и заканчивая мною самим. Иначе в этом мире все было бы по-другому.

Впрочем, какое мне дело до *этого* мира? Я не заслужил покоя, но заслужил *другой* мир. Будем надеяться, что он окажется действительно другим... Меня ждет мой самолетик, мои герои. И еще в одном признаюсь вам, дамы и господа: мне жаль вас, остающихся. Да, и передайте, пожалуйста, доктору Коцу, что завтра я на работу уже не выйду, хорошо?

КОНЕЦ

*Нью-Йорк,
июнь-сентябрь, 2016 год.*